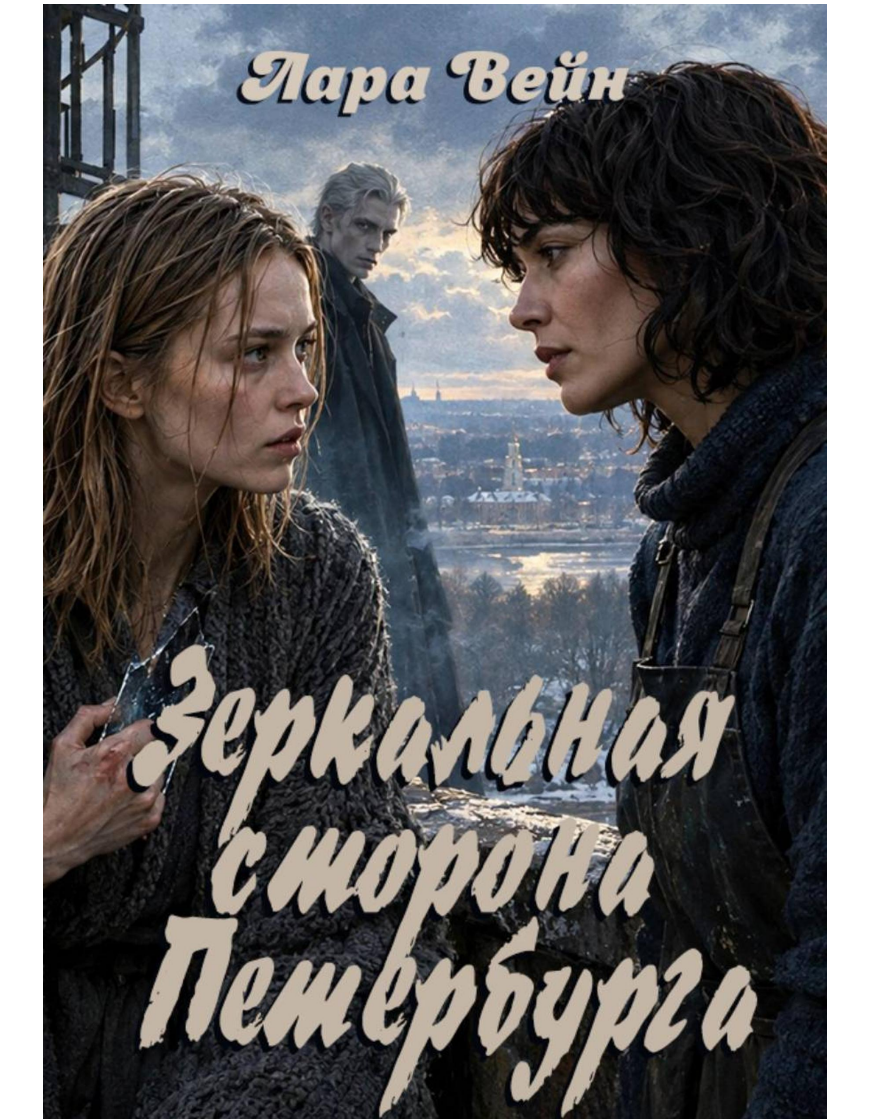


A movie poster featuring three characters against a backdrop of a city at sunset. In the foreground, a woman with long, wet, light brown hair (Lara Vein) looks off to the side with a concerned expression. To her right, another woman with dark, curly hair and bangs looks towards her. In the background, a man with pale skin and white hair looks on. The city below them is bathed in the warm light of the setting or rising sun, with a river and various buildings visible. The overall mood is dramatic and mysterious.

Лара Вейн

*Зеркальная
сторона
Пещербурга*

Лара Вейн

Зеркальная сторона Петербурга

<https://litres.ru/74600298>

SelfPub; 2026

Аннотация

Петербург это город, где даже на барахолке можно найти не только историю но и волшебное зеркало которое может перевернуть всю жизнь разделив ее на до и после.

Содержание

Пролог	5
Глава 1. Автограф времени	16
Глава 2. Отдано	40
Глава 3. Вещь или правда	60
Глава 4. Суп, мама и минералогия	82
Глава 5. Господин Мороз	106
Глава 6. Министр иностранных дел	128
Глава 7. Карта с тремя кружками	153
Конец ознакомительного фрагмента.	160

Лара Вейн Зеркальная сторона Петербурга

ЗЕРКАЛЬНАЯ СТОРОНА ПЕТЕРБУРГА

Роман

16+

Роман является художественным произведением. Исторические лица и события изображены в нём в вымышленных обстоятельствах; диалоги и частная жизнь исторических персонажей — плод авторского воображения. Все современные персонажи вымышлены, любые совпадения случайны.

Пролог

Ленинград, январь 1942 года

В ту зиму зеркала в городе замерзали изнутри.

Фёдор Морозов заметил это первым — ещё в декабре, когда во всём доме на Зверинской перестали топить и по стенам пошла белая шерсть инея. Иней лёг на обои, на корешки книг, на фотографии в рамках, на глаза покойной тёщи с портрета над комодом. Иней лёг и на зеркала — но не снаружи, как на окнах, а изнутри. Под стеклом. Будто по ту сторону амальгамы тоже кто-то жил, и у него тоже кончились дрова.

Фёдор знал, что так и есть.

Он был хранителем двенадцать лет. Унаследовал это от старика Лаврентьева, переплётчика с Большой Пушкарской, который однажды, в тридцатом году, остановил его на улице, посмотрел в глаза и сказал: «Вы, молодой человек, видите лишнее. Пойдёмте, я вам объясню, что с этим делать». Фёдор тогда решил, что старик сумасшедший. Через неделю он уже знал, где в Петроградской части проходят швы между городами — тем, где стоят дома и ходят трамваи, и тем, другим, который лежит под ним, как подкладка под пальто.

Изнанка. Старик называл это так. Изнанка Петербурга.

Там тоже были улицы. Только те, которых нет: замурованные арки, засыпанные каналы, снесённые церкви, дома,

которые собирались построить и не построили. Там стояли комнаты, в которых никто не жил, и лестницы, которые никуда не вели. И там, в самой глубине, хранилось всё, что город когда-то потерял и не захотел отпустить.

А между двумя городами было зеркало.

Одно. Большое. Старое — старше самого Петербурга, говорил Лаврентьев: его будто бы привезли голландцы, когда город был ещё деревянным. Висело оно не на стене, а в самом шве — там, где одна сторона встречалась с другой. И пока зеркало было целым, всё было в порядке. Здешние жили здесь. Тамошние — там. А хранитель следил, чтобы никто не путал двери.

В январе сорок второго зеркало треснуло.

* * *

Фёдор шёл по Большой Пушкарской в половине пятого вечера, и было уже совсем темно.

Город был тёмным весь — ни фонаря, ни окна. Только снег светился сам по себе, слабо, серо, как будто изнутри. Сугробы лежали вдоль домов в человеческий рост. Посреди улицы стоял трамвай — тридцать первый номер, вмёрзший в рельсы ещё в декабре. Окна трамвая заиндевели. Внутри кто-то сидел. Фёдор не стал смотреть, кто.

Он шёл медленно. Медленно ходили все — кто ещё ходил. Он экономил шаги, как экономил хлеб: сто двадцать пять граммов в день, утром треть, днём треть, вечером треть, запивать кипятком. Ноги в валенках были чужие, тяжёлые,

будто их приделал к нему кто-то другой и забыл объяснить, как ими пользоваться.

Ему было тридцать восемь лет. Ещё осенью он был широкоплечим, с рыжеватыми усами и громким голосом, работал инженером на «Электросиле», любил пиво с раками и шахматы по воскресеньям. Сейчас из зеркала на него смотрел худой старик с запавшими щеками и белыми от инея бровями.

Впрочем, в зеркала он теперь смотрел редко. Из зеркал теперь смотрели на него.

* * *

Он почувствовал это ещё в ноябре.

Сначала — холод. Не обычный блокадный, к которому привыкаешь, как к зубной боли, а другой. Тянущий. Направленный. Будто кто-то открыл форточку в соседнюю комнату — только комната была не за стеной, а за отражением. Фёдор подходил к любому зеркалу в городе, и из-за стекла ему в лицо дышало стужей.

Потом — тени. Краем глаза. В витринах заколоченных магазинов, в чёрных окнах, в лужах, которые не успели замёрзнуть. Не люди и не звери. Просто — движение. Как будто кто-то по ту сторону ходил вдоль стекла и искал, где теньше.

А в декабре, на Мытнинской, в разбомблённом доме, он нашёл первую дыру.

Посреди комнаты на третьем этаже — комнаты, от которой осталось три стены и половина пола, — висел в воздухе

кусок пустоты. Размером с форточку. Края у него были острые и блестящие, как разбитое стекло. Сквозь пустоту было видно другую комнату. Целую. С абажуром, с самоваром, с накрытым столом. На столе стоял хлеб. Целая буханка. Белая.

И к этой дыре по обломкам лестницы карабкалась женщина. В трёх платках, с детскими санками за спиной. Она видела хлеб.

Фёдор успел. Схватил её за рукав, оттащил. Она кричала, била его кулаками — слабо, как бьют дети, — и плакала без слёз: «Там хлеб, там хлеб, пустите, там же хлеб!» А дыра на его глазах вдруг дрогнула, и комната за ней поплыла, как отражение в воде, и самовар стал пустым чайником, и белая буханка — кирпичом, и абажур — петлёй.

Это была ловушка. Изнанка научилась приманивать.

Голодный город был для неё лёгкой добычей. Голодные смотрят в зеркала дольше. Голодным мерещится. Голодные идут на запах.

* * *

Он насчитал за декабрь одиннадцать дыр. Закрыв девять. Как закрывать — учил Лаврентьев: камень, слово, своя кровь на стекле. Камень у Фёдора был — тяжёлый, серый, с металлическим блеском, кусок свинцово-цинковой руды с Алтая, который старик отдал ему в тридцатом. Слова он знал. Крови становилось всё меньше.

Две дыры он закрыть не успел. В одну ушёл мальчишка

лет десяти, на Съезжинской. Во вторую — старик-аптекарь, который сам пошёл, спокойно, с портфелем, надев калоши. Фёдор видел. Аптекарь обернулся у края, приподнял шляпу и сказал: «Там, говорят, тепло». И шагнул.

Фёдор не стал его останавливать. Он потом долго думал, правильно ли сделал. Так и не решил.

А в январе он понял, откуда идут дыры.

Зеркало в шве треснуло. Не от бомбы — бомбы на изнанку не падают. От другого. От того, что город по эту сторону стал слишком лёгким. Слишком пустым. Слишком тихим. Миллион человек умирал, и город терял вес, как теряли вес люди, — и зеркало, которое двести с лишним лет держалось на равновесии двух сторон, вдруг почувствовало, что с этой стороны почти никого нет.

И начало проседать.

Трещина шла от края к центру. Каждый день — на палец. Фёдор приходил к шву каждый вечер и мерил. На палец. На палец. На палец.

Когда трещина дойдёт до центра, говорил Лаврентьев, зеркало расколется. И тогда двери будут везде.

* * *

Шов был на Петроградской, в старом дворе на Большой Пушкарской. Во дворе — второй двор. Во втором дворе — третий, глухой, без окон, четыре стены и квадрат неба. В третьем дворе стояла поленница — давно сожжённая, осталось только основание из почерневших досок. За поленницей бы-

ла стена. Обычная, кирпичная, облупленная.

Если смотреть прямо — стена.

Если смотреть краем глаза — зеркало.

Огромное, от земли до третьего этажа, в тяжёлой раме из тёмного дерева, с позолотой, сбившейся в углах до серого. Стекло — не плоское, а будто слегка выпуклое, как глаз. И в нём отражался не двор, а другой двор — тот же самый, только в нём горел фонарь, и поленница была цела, и на верёвке сушилось бельё. Тёплое, летнее.

А через всё стекло, от верхнего левого угла почти до середины, шла трещина.

Сегодня она дошла до середины.

* * *

Фёдор стоял перед зеркалом и смотрел.

Трещина светилась. Тонко, белым, как нить накаливания в лампочке. И из неё — он чувствовал лицом, руками, всем своим исхудавшим телом — тянуло холодом. Таким, что даже блокадный январь казался рядом с ним оттепелью.

А в отражении, в том тёплом дворе с фонарём, — у самого края трещины, по ту сторону, — стояли они.

Много. Неразличимые. Тени без лиц. Они не толкались, не шумели. Просто стояли и ждали. Как люди в очереди за хлебом в шесть утра. Терпеливо. Молча. Зная, что дверь вот-вот откроется.

Фёдор снял варежку.

Пальцы не слушались. Он долго, по одному, разгибал их.

Достал из кармана ватника камень. Тёплый — камень всегда был тёплым, даже сейчас, единственная тёплая вещь в городе.

Он знал, что делать. Лаврентьев объяснил и это — в самый последний раз, в тридцать шестом, уже больной, лёжа на кушетке среди переплётов. Старик тогда сказал: «Есть, Фёдя, один способ закрыть шов совсем. Насовсем. Чтобы никто туда и оттуда. Но я тебе его не советую. Это навсегда. Это — для крайнего случая».

«А какой случай — крайний?» — спросил тогда Фёдор.

Старик долго смотрел в потолок. Потом сказал: «Ты поймёшь».

Фёдор понял.

* * *

Сначала он хотел сходить домой.

Попрощаться. С Зиной — она лежала третий день под всеми одеялами и почти не говорила. С Тасенькой — ей было шесть, она уже не плакала, только смотрела. Отдать им свой хлеб. Сказать что-нибудь.

Он даже повернулся к арке.

И увидел, как в зеркале, по ту сторону, одна из теней положила ладонь на трещину. С той стороны. И стекло под ладонью прогнулось. Чуть-чуть. Как прогибается лёд на Неве под первым неосторожным шагом.

Домой он не пошёл.

Он только достал из нагрудного кармана огрызок каран-

даша и клочок обёрточной бумаги. Написал, прижав бумагу к ледяной стене, — буквы выходили кривые, рука дрожала:

«Зина. Хлеб в комод, в верхнем ящике, под Тасиным платьем, мой за три дня. Ешьте. Я на работе. Не жди. Ф.»

Сложил. Сунул в щель между кирпичами арки. Кто-нибудь найдёт. Кто-нибудь отнесёт.

Может быть.

* * *

Он вернулся к зеркалу.

Тени по ту сторону смотрели на него. Он почему-то знал — смотрели, хотя лиц у них не было.

— Ну что, граждане, — сказал Фёдор вслух. Голос был хриплый, чужой. — Очередь закрыта. Приём окончен. Расходитесь.

Он прижал ладонь с камнем к трещине.

Холод ударил в руку, как ток. Поднялся к локтю. К плечу. К сердцу. Фёдор не отдернул руку. Он навалился на стекло всем телом — всем тем, что от тела осталось, сорока восемь килограммами костей и ватника, — и начал говорить слова. Те, которые знал от Лаврентьева. Старые, непонятные, не русские и не латинские, похожие на скрип снега под валенками.

Трещина вспыхнула.

Он видел, как она перестаёт расти. Как белый свет в ней тускнеет. Как края стекла — медленно, с тихим звоном, похожим на звон ложечки о стакан, — сходятся. Как тени по

ту сторону отступают от трещины — неохотно, как отступает очередь, когда в окошке говорят: «Хлеба нет и сегодня не будет».

Он не видел только одного.

Того, как иней, который до этого жил только внутри зеркал, медленно, начиная с пальцев, поднимается по его руке. По рукаву ватника. По шее. По щеке. По белым бровям. Как становятся прозрачными, стеклянными его пальцы, прижатые к стеклу. Как он сам становится частью рамы.

Он заметил только, что больше не холодно.

Совсем.

* * *

Утром двадцать шестого января дворник дома на Большой Пушкарской, Прасковья Ильинична Дудкина, шестидесяти трёх лет, обходила дворы с ломом — сбивала наледь у водоразборной колонки, как делала каждое утро, пока могла держать лом.

В третьем, глухом дворе, у почерневшей поленницы, она нашла мужчину.

Он стоял. Не лежал, не сидел — стоял, лицом к кирпичной стене, прижав к ней правую ладонь. Весь белый от инея. Как статуя.

Прасковья Ильинична видела за эту зиму многое. Её уже ничем было не удивить. Она подошла, тронула его за плечо. Плечо было твёрдое и звонкое, как стекло.

Она постояла. Перекрестилась — привычка старая, дере-

венская, от матери. Потом пошла звать управдома.

Когда они вернулись вдвоём — через полчаса, — у стены никого не было.

Только на кирпичах, на уровне человеческого плеча, остался отпечаток ладони. Белый. Инистый. Пять пальцев, растопыренных, как на детском рисунке.

И сколько потом ни светило солнце — а весной сорок второго оно светило, светило так, что люди выходили во дворы и стояли, подставив лица, и плакали, — отпечаток не таял.

Он не таял и в сорок третьем. И в пятидесятом. И в семьдесят пятом, когда дом ставили на капитальный ремонт и строители ругались, что пятно не берёт ни краска, ни штукатурка.

Он и сейчас там.

Если смотреть прямо — просто кирпичная стена.

Если смотреть краем глаза — белая ладонь на стекле.

И холод. Тихий, терпеливый, вежливый холод, который стоит у двери и не пускает.

* * *

А записку из щели между кирпичами арки нашла соседка. Вечером того же дня. И отнесла на Зверинскую.

Зина прочитала её. Нашла в верхнем ящике комода, под Тасиным платьем, хлеб за три дня. По сто двадцать пять граммов за три дня — триста семьдесят пять граммов. Чёрный, тяжёлый, мокрый.

Они с Тасенькой его съели.

И дожили до весны.

Глава 1. Автограф времени

Петербург, ноябрь 2026 года

В Петербурге есть два способа узнать, что наступил ноябрь. Первый — посмотреть в календарь. Второй — выйти на улицу и обнаружить, что небо опустилось до уровня третьего этажа, а воздух можно выжимать, как полотенце. Я всегда пользуюсь вторым. Календарю я не доверяю с тех пор, как он сообщил мне, что мне двадцать семь.

В то воскресенье я стояла посреди Удельного рынка с руками в карманах и пересчитывала пальцами деньги. Пересчитывать было приятно, потому что быстро. Аванс от «Хрустящего века» пришёл в пятницу, и к воскресенью от него осталось ровно столько, сколько остаётся от торта на детском празднике, если ты пришёл последним: крошки, немного крема на картонке и ощущение, что жизнь несправедлива.

Две тысячи сто сорок рублей. Из них тысяча сто — на комнату до конца месяца, вернее, на ту часть комнаты, которую я ещё не оплатила. Остальное — на жизнь. Жизнь, по моим подсчётам, стоила тысячу сорок рублей и должна была продлиться две недели. Я прикинула, что если не есть по вторникам, то можно позволить себе раму.

Объясню про раму, а то звучит как безумие. Звучит, впрочем, правильно.

Я иллюстратор. Рисую детские книжки про ежей, которые

учатся делиться, и упаковку для продуктов, которые никто не должен есть. Это профессия, при которой ты сидишь дома, рисуешь, а потом три недели ждёшь, когда тебе заплатят за то, что ты нарисовал, и ещё неделю переделываешь то, за что уже заплатили. Мама называет это «сидит дома». Мама живёт в Череповце и уверена, что я работаю «в компьютере», как будто компьютер — это такой большой шкаф, куда я каждое утро залезаю, а вечером вылезая с пачкой денег.

Комнату я снимаю на Петроградской, на Большой Зелениной, в коммуналке. Комната хорошая: высокий потолок, лепнина, окно во двор-колодец, из которого видно небо размером с почтовую марку, причём марку гашёную. Плохо в ней одно — она пустая. Совсем. Стол, кровать, стул и я. Когда я въехала, стены смотрели на меня с таким выражением, с каким смотрят на новую учительницу в девятом «Б»: ну-ну, посмотрим, сколько ты продержишься. Я продержалась полгода и решила, что пора их задобрить. Повесить что-нибудь. Картину. Зеркало. Хоть что-нибудь, у чего есть рама.

Поэтому — Удельная. Поэтому — воскресенье. Поэтому — тысяча рублей максимум и вторник без обеда.

* * *

Если вы никогда не были на Удельном рынке, я вам немного завидую, а немного сочувствую. Это место, куда Петербург сносит всё, что у него завалилось за триста лет. Бронзовые подсвечники без свечей, свечи без подсвечников, фарфоровые балерины без рук, руки от неизвестных статуй, пи-

онерские горны, утюги, которые греют на плите, плиты, которые греют утюги, ордена за взятие городов, которых больше нет на карте, и карты городов, которые никто не брал. Всё это лежит на клеёнке, на ящиках, на капотах «Жигулей» и прямо на земле, а над всем этим висит запах жареных пирожков и мокрой мешковины, такой густой, что его можно резать и продавать отдельно.

Продавцы на Удельной делятся на два вида. Первые сидят молча и смотрят на тебя так, будто ты пришла украсть у них молодость. Вторые хватают тебя за рукав и рассказывают, что вот этот самовар — тот самый, из которого пил чай Распутин, а вот этот — тот самый, из которого пил чай тот, кто Распутина убил, и если взять оба, то будет скидка.

Коля «Копейка» относился ко вторым. Только я тогда ещё не знала, что он Коля и, тем более что он «Копейка».

— Мадемуазель! — сказал голос справа, и я поняла, что мадемуазель — это я, потому что больше мадемуазелей в радиусе десяти метров не было, были две бабушки с тележками и мужчина в камуфляже, торговавший штык-ножами. — Мадемуазель, для вас есть вещь!

Голос был скрипучий, с сипотцой, как будто его владелец только что продрал горло портвейном и остался доволен результатом. Я обернулась.

За низким складным столиком, заваленным подсвечниками и стопками пожелтевших открыток («С Новым, 1957 годом!» — желала мне открытка сверху с таким энтузиазмом,

что я почти поверила), сидел небритый мужик в засаленном пальто. Пальто было когда-то верблюжьим, потом стало пятнистым, а теперь, судя по всему, готовилось стать леопардовым. От мужика пахло одеколоном «Шипр». Я знаю этот запах, потому что им пах мой дедушка, когда шёл на партсобрание, и с тех пор «Шипр» для меня — это запах человека, который сейчас будет врать.

— Редкая вещь, — продолжал мужик. — Дореволюционная. Из профессорской квартиры на Каменноостровском. Профессор, между прочим, был консультантом Мариинского театра по... по... — Он пошевелил пальцами в воздухе, подбирая, по чему мог консультировать Мариинский театр профессор. — По акустике.

— По акустике, — повторила я.

— Отражение звука, — пояснил он, не моргнув. — А это — отражение изображения. Видите связь?

Связи я не видела, но смотреть начала. У него в руках было что-то, завёрнутое в старую фланелевую тряпку, явно бывшую когда-то частью детской пижамы, — на ней ещё угадывались медвежата. Он разворачивал свёрток медленно, с паузами, как фокусник, который сейчас достанет из шляпы не кролика, а целого слона.

Слона там не было. Там было зеркало.

Трюмо, если быть точной. Невысокое, примерно мне по колено: тёмное дерево, резьба по углам, остатки позолоты, похожие на остатки загара в феврале. Когда-то это была

очень хорошая вещь — это было видно, как видно в старике бывшего красавца по тому, как он держит спину. Рама была разошедшаяся, но благородная. А через всю амальгаму, от верхнего левого угла к нижнему правому, шла трещина. Тонкая, ровная и жуткая, будто зеркало кто-то аккуратно разрезал пополам скальпелем, а потом передумал и сложил обратно.

— Трещина, — сказала я.

— Где? — удивился мужик, посмотрел на зеркало, как будто видел его впервые, и тут же лицо его озарилось. — А! Это не трещина, мадемуазель. Это шарм. Время оставило свой автограф.

Я подумала, что если бы время оставляло автографы на всём, к чему прикасается, то мой паспорт можно было бы продавать на «Сотбис».

— Профессор, — продолжил он доверительно, понизив голос, — говорил, что именно это зеркало помнит его покойную супругу. Она в него перед балом гляделась.

— Перед каким балом?

— Перед последним, — сказал он печально.

Это было так нагло и так хорошо сказано, что я засмеялась. И, наверное, это была моя первая ошибка, потому что продавцы на Удельной смех покупателя воспринимают как подпись на договоре.

Сбоку от зеркала был приклеен ценник. Обычный жёлтый стикер для заметок, на котором шариковой ручкой с нажи-

мом было выведено: «ОТДАНО». Не «продано», а именно «отдано», с двумя подчёркиваниями, как будто кто-то очень хотел, чтобы это было правдой.

— А это что? — спросила я.

Мужик посмотрел на ценник, потом на меня, потом на ценник ещё раз, и я впервые увидела, что глаза у него бегают. Не как у обычного жулика — у тех глаза бегают лениво, по привычке, как старая собака по двору. А у этого они бежали так, будто искали, куда спрятаться.

— Это... — Он сорвал стикер, скомкал и сунул в карман. — Это предыдущий клиент. Обещал забрать и не забрал. Безответственные люди, мадемуазель. Кругом безответственные люди. Восемь тысяч.

Я мысленно перевела восемь тысяч в дни без обеда. Вышло, что если я куплю это зеркало, то пообедаю следующий раз примерно к Пасхе. Я покачала головой и сделала то, что делают все разумные люди на Удельной: повернулась, чтобы уйти.

— Пять! — сказал он мне в спину.

Я сделала шаг.

— Три! Мадемуазель, три, это даром! Рама одна стоит три!

Тут бы и уйти. Но я обернулась, потому что в его голосе было что-то неправильное. Торговцы на рынке сбавляют цену с достоинством, с театральными вздохами, с хватанием себя за сердце, с рассказами о детях, которых нечем кормить.

Это часть ритуала, как поклоны в японской чайной церемонии. А этот сбавлял быстро, суетливо, почти лихорадочно — как человек, которому не продать нужно, а избавиться. Как будто у него в руках была не антикварная вещь, а горячая сковородка.

— Две, — сказал он и сам испугался.

— Тысяча, — сказала я. — Больше не могу. Правда не могу.

Я ждала, что он возмутится. Что скажет: «Мадемуазель, вы меня без ножа режете», или «У меня дети», или хотя бы «Вы смеётесь?». Это было бы правильно. Это было бы поудельнински.

— Забирайте, — сказал он и сунул мне зеркало в руки так стремительно, что я чуть его не уронила. — Забирайте, мадемуазель, пока я добрый.

Я отсчитала тысячу. Пятисотку, двухсотку и три сотни монетами по десять рублей, потому что сотенных купюр у меня не было, а были монеты, накопленные в банке из-под кофе на чёрный день. Чёрный день, как выяснилось, наступил в солнечное воскресенье. Ну, «солнечное» в петербургском смысле: солнца не было, но и дождя пока тоже.

Мужик сгрёб монеты, не пересчитывая. Это меня тоже насторожило. Человек, который не пересчитывает монеты по десять рублей, либо очень богат, либо очень торопится. На богатого он не был похож. На торопящегося — очень.

В кошельке у меня остались деньги за комнату, которые

трогать нельзя, мелочь на метро и шоколадка «Алёнка», которую я берегла для особого случая. Особый случай тоже, кажется, наступил.

Зеркало оказалось тяжёлым. Не просто тяжёлым — неправдоподобно тяжёлым, будто в раму вместо дерева залили свинец. Я прижала свёрток к себе обеими руками и уже повернулась к выходу, когда с соседнего лотка раздался голос.

— У зеркала есть ещё одна сторона. Не смотри туда попусту, дочка.

* * *

Соседний лоток был завален вязаными салфетками и книжками в потёртых обложках. Салфетки были белые, кремовые и бледно-голубые, круглые, как снежинки, если бы снежинки вязали на спицах в ожидании внуков. Книжки были такие, какие бывают только на Удельной: «Справочник садовода, 1974», «Как закалить сталь (и характер)», томик Тютчева с чьим-то автографом на форзаце и почему-то «Анжелика и султан» в трёх экземплярах.

За лотком на складном стульчике сидела бабушка. Сухонькая, маленькая, в платке в мелкий цветочек и в пальто, застёгнутом на все пуговицы, включая ту, что у самого горла, которую не застёгивает никто, кроме людей с очень сильным характером. Она вязала. Спицы двигались ровно и быстро, как поршни в хорошем моторе. Головы она не подняла.

— Что? — спросила я.

— То, что слышала, — сказала бабушка, по-прежнему не глядя. Голос у неё был хрипловатый, спокойный, без вопросительных интонаций. Так говорят не люди, а железнодорожные расписания. — Вещь непростая. А ты уже заплатила. Так что дело твоё.

— Какая сторона? — сказала я. — Задняя? Там фанера, я видела.

Бабушка вздохнула. Так вздыхают учительницы, когда ученик отвечает на вопрос «Кто написал „Войну и мир“?» словом «Достоевский» и смотрит с надеждой.

— Помни, дочка. У каждого зеркала две стороны. Одна — та, что ты видишь. Другая — та, что видит тебя.

Спицы цокнули. Петля перешла с одной спицы на другую. Бабушка развернула вязание, посмотрела на него критически, как генерал на карту, и продолжила.

У меня побежали мурашки. Это было глупо: бабушки на рынках всегда говорят что-нибудь такое. Это их профессиональная деформация. Если сорок лет сидеть на Удельной среди фарфоровых балерин и чужих орденов, начнёшь видеть во всём знаки. Моя тётя Галя из Череповца, например, видит знаки в форме облаков и по ним выбирает, когда сажать картошку. Картошка, надо сказать, у неё прекрасная, так что, может, она и права.

Но бабушка сказала это так обыденно. Как будто попросила передать соль. Или предупредила, что на ступеньках скользко. Не пугала, не нагнетала, не делала страшные гла-

за. Просто сообщила факт. В зеркалах есть вторая сторона, дочка, имей в виду, как в метро есть вторая платформа.

Я крепче прижала к себе свёрток и повернулась к Копейке — тогда ещё безымянному мужику в леопардовом пальто, — чтобы сказать... не знаю что. Может быть, попросить деньги назад. Может быть, спросить, кто был предыдущий клиент и почему на ценнике было написано «отдано».

Мужика не было.

Не было и столика. Не было подсвечников, открыток с 1957 годом и пижамной фланельки с медвежатами. На том месте, где минуту назад шла бойкая торговля антиквариатом из профессорских квартир, лежал только примятый картон, и по нему уже деловито шла ворона. Ворона посмотрела на меня. Я посмотрела на ворону. Ворона пожала плечами — честное слово, я видела, — и пошла дальше.

Где-то в проходе, между куртками покупателей, мелькнула пятнистая спина пальто. И исчезла.

Я стояла с зеркалом под мышкой и думала, что это первый случай в истории Удельного рынка, когда продавец сбежал от покупателя, а не наоборот.

— Бабушка, — сказала я, — а вы его знаете? Этого... продавца?

— Колю-то? — Спицы не сбились ни на петлю. — Колю все знают. Копейка его зовут.

— Почему Копейка?

— Потому что за копейку удавится, — сказала бабушка.

И впервые подняла на меня глаза.

Глаза у неё были светлые-светлые, почти прозрачные, как вода в проруби. И смотрела она не на меня, а как будто сквозь меня, куда-то мне за левое плечо. Я машинально оглянулась. За левым плечом был ларёк с шаурмой, и шаурмист приветливо помахал мне щипцами.

Когда я повернулась обратно, бабушка снова вязала.

— Только вот, — сказала она, считая петли, — тысячу-то он с тебя взял. А за копейку удавится. Ты подумай, дочка, с чего бы это он вдруг подобрел.

Я подумала. Подумалось плохо.

— Сколько стоит салфетка? — спросила я, потому что надо было что-то спросить, а уходить молча было неудобно, как будто меня отчитали.

— Тебе не по карману, — сказала бабушка спокойно. — Иди, дочка. Темнеет.

Было без двадцати четыре. В ноябре в Петербурге это действительно «темнеет», а не «день». Я пошла.

* * *

Есть вещи, которые невозможно делать с достоинством. Есть суп из пакета. Падать на льду. Объяснять маме, кто такой иллюстратор. И везти трюмо в общественном транспорте.

Сначала была электричка от Удельной до Ланской — одна остановка, на которой я попыталась сесть, держа зеркало на коленях, и поняла, что зеркало примерно вдвое шире моих

колен. Женщина, напротив, смотрела на меня с сочувствием. Её муж смотрел на зеркало с интересом. Их сын смотрел в телефон, и это был единственный человек в вагоне, который вёл себя нормально.

— Хорошая вещь, — сказал муж. — Дорого брали?

— Тысячу, — сказала я.

Муж присвистнул, жена толкнула его локтем, и он замолчал, но по его лицу было видно, что он мысленно уже едет в следующее воскресенье на Удельную за трюмо по тысяче рублей и будет продавать их на через интернет по пятнадцать. Я хотела сказать ему, что там только одно такое и продавец уже сбежал, но не стала. Пусть у человека будет мечта.

На Ланской я пересела на метро, вернее, попыталась пересест. Турникет посмотрел на меня с подозрением. Не знаю, может ли турникет смотреть, но этот смог. Я приложила карту, турникет мигнул зелёным, я шагнула, и турникет тут же передумал и дал мне железной лапой по свёртку. Свёрток издал звук, который издаёт зеркало, когда понимает, что его жизнь в опасности. Я выругалась шёпотом, бабушка позади меня — тоже шёпотом, но неодобрительно, и я протащила зеркало боком, как контрабанду.

На эскалаторе я стояла, обняв трюмо, как ребёнка, и смотрела на рекламу, которая проплывала мимо. «Ваш дом — ваше отражение», — сообщил мне плакат мебельного салона. «Откройте для себя другую сторону», — предложил следующий, про какой-то банк. «Не смотри туда попусту», —

сказал третий. Я вздрогнула, присмотрелась. «Не плати попусту — переходи на тариф „Экономный“». Ну да. Нервы.

В вагоне до «Петроградской» я встала в угол, прижала зеркало к стене тряпичным боком и наконец перевела дух. Напротив меня оказалась тёмная дверь с надписью «Не прислоняться», и в чёрном стекле, как это всегда бывает в метро, отражался весь вагон: усталые люди, сумки, шапки, телефоны, и я — в зелёной куртке, растрёпанная, с полосатым шарфом, съехавшим набок, и с огромным свёртком в обнимку. Вид у меня был такой, будто я только что украла что-то из Эрмитажа и пытаюсь выглядеть естественно.

И тут случилось странное. Первое странное за тот день, если не считать сбежавшего продавца. Хотя, может, я и его теперь посчитаю.

Я смотрела на своё отражение в тёмном стекле двери. И левым глазом — краем левого глаза — увидела, что между мной и отражением было ещё что-то. Как будто в чёрном стекле был не один слой, а два, как в старой кальке, положенной на рисунок. Сквозь первый слой — вагон, люди, я — просвечивал второй. Там тоже был вагон. Только пустой. Совершенно пустой, с жёлтым дрожащим светом, и в нём, в том же углу, где стояла я, стоял кто-то. Высокий. В тёмном.

Я моргнула. Второй слой исчез. В стекле была только я — растрёпанная, в зелёной куртке и с краденым видом.

У меня так бывает. Не часто, но бывает. Это из-за глаза. Позже расскажу, сейчас не хочу — сейчас я стою в вагоне

метро с зеркалом в обнимку, и у меня трясутся руки, и мне не до воспоминаний о детстве.

— Девушка, — сказал мужчина рядом, — вы выходите?

— Что?

— На «Петроградской» выходите?

Я посмотрела на табло. Было «Петроградская». Я вышла.

* * *

Дом на Большой Зелениной построен в 1910 году каким-то купцом, который явно мечтал о дворце, но денег хватило только на фасад. Фасад у нас великолепный: эркеры, балкончики, каменные совы под карнизом и маскароны над подъездом — две женские головы с таким выражением лица, будто им только что сообщили размер квартплаты. Внутри — лестница. Лестница широкая, с остатками мраморных ступеней, с ажурными перилами, по которым сто лет назад скользили руки дам в перчатках, а теперь скользят руки подростков с банками энергетика. И с лифтом.

Лифт у нас есть. Это важно сказать, потому что потом я буду говорить, что лифта нет, и вы мне, не поверите. Лифт есть. Он стоит в сетчатой шахте посреди лестничного пролёта, деревянная кабина с медной табличкой «Флор, и сын. Москва», и он не работает с тех пор, как я въехала. Возможно, с тех пор, как въехал купец. Ангелина Карловна, моя квартирная хозяйка, говорит, что последний раз он ехал в 1993 году, и ехал в нём депутат Ленсовета, который застрял между третьим и четвёртым этажами на шесть часов, после

чего лифт решили больше не беспокоить, а депутат ушёл из политики.

Я живу на четвёртом. Четвёртый этаж в доме 1910 года — это примерно седьмой в современном. Потолки по четыре метра, лестничные пролёты длинные, как философские споры, и с каждым пролётом зеркало под мышкой становилось тяжелее. Я не преувеличиваю: на первом этаже оно весило килограммов семь, на втором — десять, к третьему — пятнадцать, а на площадке между третьим и четвёртым, как раз напротив лифта, где застрял несчастный депутат, оно, по моим ощущениям, весило как рояль.

На этой площадке я остановилась передохнуть. Поставила свёрток на ступеньку, прислонила к перилам и села рядом сама. Отбитое бедро ныло — зеркало успело приложить меня об угол на втором этаже. Пальцы на правой руке были отдавлены. Ноготь на мизинце треснул. За последние два часа я поругалась с турникетом, напугала эскалатор и потеряла веру в рекламу.

Мне позвонила мама.

Мама звонит мне в самые неподходящие моменты. Я не знаю, как она это делает. Может быть, у неё есть какое-то приложение, которое показывает, когда я сижу на лестнице с отбитым бедром. Если есть — я хочу такое же, чтобы знать, когда мне звонить ей.

— Алисочка, — сказала мама, — ты где?

— На лестнице.

— А что ты там делаешь?

— Сижу.

— Почему на лестнице? У тебя что, ключей нет? Тебя выгнали? Я так и знала, что эта твоя Ангелина Карловна...

— Мам, меня не выгнали. Я несла зеркало и устала.

Пауза. В Череповце тщательно обдумывали услышанное.

— Какое зеркало?

— Трюмо. Я купила трюмо на рынке.

— На каком рынке?

— На Удельном.

— Это где?

— Это далеко, мам.

— А зачем тебе трюмо? У тебя что, нет зеркала?

Я хотела сказать, что у меня есть зеркало — маленькое, в ванной, общее на четверых, и в нём я обычно вижу либо свой нос, либо Валерину спину, — но мама уже двигалась дальше по своей программе. Мамины разговоры устроены как экскурсии на автобусе: что бы ни происходило за окном, гид всё равно доведёт тебя до главной достопримечательности.

— Ты бы лучше, — сказала мама, — вместо зеркала мужа себе купила.

— Мам, мужей не продают.

— Продают, — сказала мама уверенно. — У Тамары Петровны дочка на сайте нашла. Программист. Хороший мальчик. Шесть лет уже, двое детей.

— Шесть лет — мальчику?

— Шесть лет женаты! Алиса, ты нарочно? Ну хорошо, не мужа. Ну хоть кота заведи. Кот — это тоже ответственность. Это первый шаг.

Мама считает, что жизнь — это лестница. Сначала кот, потом муж, потом дети, потом внуки, потом дача, на которой внуки ломают теплицу. Я в этой системе застряла где-то между «котом» и «первым шагом», как депутат в лифте.

— Мам, мне не разрешают кота. У Ангелины Карловны попугай.

— А попугай разрешает?

— Попугай вообще ничего не разрешает. Он кричит «Деньги вперёд!».

Мама снова помолчала. Видимо, представляла себе этого попугая и то, чтобы она ему сказала.

— Алиса, — сказала она наконец другим, тихим голосом, — ты ешь?

И вот тут у меня зашипало в глазах. Потому что я не ела с утра. Потому что у меня в кармане шоколадка «Алёнка» на особый случай и мелочь. Потому что во вторник я обедать не буду, и в следующий вторник тоже. Потому что я сижу на лестнице дома 1910 года рядом с треснувшим зеркалом и мне двадцать семь лет, и у меня нет ни мужа, ни кота, ни даже приличной работы, а есть заказчик, который хочет, чтобы Пётр Первый был «более вкусным».

— Ем, мам, — сказала я. — Всё нормально. Я тебе завтра позвоню.

— Позвони, — сказала мама. — И не сиди на лестнице, простудишься.

Она отключилась. Я посидела ещё минуту. Потом развернула «Алёнку» и съела половину. Особый случай — он и есть особый.

* * *

Последний пролёт я преодолела рывком, как спортсмен на финише, и уже у двери квартиры поняла, что ключи у меня в левом кармане, а левая рука занята зеркалом, а правая рука занята тоже зеркалом, потому что одной рукой его не удержать. Я поставила трюмо на коврик, нашарила ключ, вставила его в замок.

Замок у нас тоже, как и лифт, старинный. Ключ к нему длиной с мою ладонь, и поворачивать его надо на два с половиной оборота, причём последние пол-оборота — с подвыванием, иначе не поддаётся. Я провернула, повыла, толкнула дверь.

— Браво! — заорали из глубины квартиры.

Это Гамлет. Гамлет — серый жако, попугай Ангелины Карловны, и ему, по её словам, сорок два года. Он пережил трёх директоров Ленконцерта, двух мужей Ангелины Карловны и одну попытку его продать. Говорить Гамлет умеет четыре вещи: «Браво!», «Деньги вперёд!», «Антракт!» и что-то по-немецки, что Ангелина Карловна отказывается переводить. «Браво» он кричит, когда кто-то входит в квартиру. Ангелина Карловна считает, что это потому, что Гамлет вы-

рос за кулисами и привык, что каждый выход надо встречать аплодисментами. Валера считает, что Гамлет над нами издевается. Я склоняюсь к версии Валеры.

— Спасибо, — сказала я в сторону кухни.

— Деньги вперёд! — ответил Гамлет.

— Я заплатила, — сказала я. — Частично.

Гамлет промолчал. Он знал, что значит «частично».

Я втащила зеркало в коридор. Коридор в нашей квартире длинный, тёмный, как в фильмах ужасов, и заставлен всем, что жильцы за сто лет не смогли ни выбросить, ни унести: велосипед без колеса, сундук, бюст Чайковского в шляпе, лыжи, три табуретки, вешалка с пальто, которое не принадлежит никому из ныне живущих, и огромная пыльная пальма в кадке, которую Ангелина Карловна называет Розалией и поливает по четвергам чаем. Розалия, кстати, растёт. Видимо, ей нравится чай.

Моя комната — четвёртая дверь налево, после Валериной и перед Гошиной. Из-за Валериной двери доносились глухие ритмичные удары: Валера репетировал. Валера — барабанщик в группе, которая называется «Сломанный трамвай» и играет что-то среднее между панком и похоронным маршем. Барабанов у Валеры нет, потому что Ангелина Карловна сказала, что, если она услышит хоть один барабан, Валера будет жить на Розалии. Поэтому Валера репетирует на подушке. Подушка за три года изучила все ритмы мирового рока и, по-моему, могла бы выступать сольно.

Из-за Гошиной двери не доносилось ничего. Гоша — аспирант-энтомолог, и он тихий, как его тараканы. Тараканы у Гоши мадагаскарские, шипящие, большие, как зажигалки, живут в аквариуме, и зовут их по именам министров иностранных дел разных стран. Самого старого и важного зовут Громыко. Я однажды видела, как Громыко ест банан, — это было зрелище, после которого я неделю не могла есть бананы.

Я открыла свою дверь, втащила зеркало внутрь, закрыла дверь, прислонилась к ней спиной и выдохнула. Только тогда — когда за мной щёлкнул замок, — я включила свет.

* * *

При свете всё оказалось ещё хуже.

Есть такой закон: вещь, которую ты купил на рынке, дома всегда выглядит хуже, чем на рынке. Это потому, что на рынке её освещает надежда, а дома — лампочка на шестьдесят ватт. Я поставила трюмо у стены напротив окна, отошла на два шага и посмотрела.

Рама была разошедшаяся сильнее, чем я думала. В углах позолота слезла хлопьями, и под ней виднелось серое, старое дерево, похожее на кожу слона. Резьба — виноградные листья и какие-то цветы — была забита пылью и, кажется, чем-то вроде воска. С правой стороны одна завитушка отломилась совсем, и на её месте торчал свежий светлый скол. Амальгама — мутная, с разводами, как будто по ней кто-то прошёлся мокрой тряпкой и забыл вытереть. А посередине, от

верхнего левого угла к нижнему правому, лежала трещина.

Под лампой она была видна гораздо лучше, чем на улице. Тонкая, ровная, как проведённая по линейке. Когда я поворачивала голову, трещина ловила свет и вспыхивала — неприятно, остро, будто подмигивала.

Я посмотрела на себя в зеркало. Трещина прошла ровно через моё лицо: от левого виска через нос к правому уголку губ. Половина меня была немного выше другой половины, как на портретах Пикассо, если бы Пикассо рисовал уставших иллюстраторов из Череповца.

— Четыре дня без обеда, — сказала я вслух.

В тишине комнаты голос прозвучал жалко. Я знала, что он прозвучит жалко, и всё равно сказала. Иногда надо сказать что-то жалкое вслух, чтобы оно перестало быть жалким внутри. Это как выпустить пар из чайника.

Зеркало промолчало. Зеркала обычно молчат. Это, в общем, их главное достоинство.

Я села на кровать и посмотрела на него издалека. Издалека, надо признать, было лучше. Издалека это было старинное трюмо с характером, с историей, с «автографом времени», которое стояло у стены моей пустой комнаты и делало её чуть менее пустой. В нём отражалась кровать, кусок окна с почтово-марочным небом и я — маленькая, взъерошенная, разрезанная пополам. Стены, кажется, смотрели на зеркало с любопытством. Новый жилец. Посмотрим, сколько продержится.

— Ничего, — сказала я стенам. — Отмою. Подклею. Позолоту подправлю. Я, между прочим, художник.

Стены промолчали скептически.

Я встала, взяла с подоконника пачку влажных салфеток — единственное моющее средство, которое было у меня в комнате, не считая зубной пасты, — присела перед зеркалом на корточки и начала тереть угол рамы. Салфетка сразу почернела. Под чернотой показалось золото — тусклое, но живое, тёплое, как свет в окне чужой кухни.

Я обрадовалась. Протёрла ещё. Потом ещё. Потом дошла до стекла и провела салфеткой по амальгаме, стирая разводы, — от края к центру, к трещине.

Стекло было холодное.

Не прохладное, как бывает стекло в комнате, где плохо топят, — а холодное, как будто его только что принесли с мороза. Как оконное стекло в январе, когда прикладываешь к нему лоб. Я отдернула руку. Посмотрела на пальцы. Пальцы были влажные от салфетки и красные от холода, а на подушечке указательного проступила белая полоска, как бывает, когда схватишься за ледяные перила.

В комнате было градусов двадцать. Батарея под окном грела так, что над ней дрожал воздух. А зеркало было ледяным.

Я наклонилась ближе. Трещина подмигнула мне светом лампы. В ней — в самой трещине, в тончайшей тёмной линии между двумя половинами стекла — мне на мгновение

показалось какое-то движение. Будто там, внутри, кто-то прошёл. Мимо. Далеко. Как человек проходит за окном противоположного дома.

Я смотрела прямо, и там ничего не было.

Я чуть повернула голову, чтобы посмотреть краем левого глаза. Того самого, со шрамом.

— Браво! — заорал в коридоре Гамлет, и я подпрыгнула так, что чуть не врезалась лбом в зеркало.

В квартиру кто-то вошёл. Хлопнула входная дверь, затопали шаги, голос Ангелины Карловны, поставленный, хорошо слышимый в последних рядах любого зала, произнёс:

— Гамлет, не позорь меня! Это всего лишь Валерий из магазина.

— Деньги вперёд! — сказал Гамлет.

— Я заплатил за кефир, — обиделся Валера.

Я выдохнула. Засмеялась — нервно, глупо, сама над собой. Ну вот. Зеркало холодное, потому что стояло весь день на улице, на ноябрьском ветру, и дерево ещё не прогрелось. А в трещине — мои нервы, мой недосып, мой голодный желудок, мой Пётр Первый, которого надо сделать более вкусным, и бабушка с Удельной, которая наговорила глупостей.

У каждого зеркала две стороны.

Одна — та, что ты видишь.

— Другая — фанера, — сказала я твёрдо и накрыла трюмо старым пледом. На всякий случай. Чтобы не видеть ни одну из сторон до утра.

Плед лёг мягко, складками. Я выключила верхний свет, оставила настольную лампу и села за стол — работать, потому что Пётр сам себя вкусным не сделает.

Минут через пять я оглянулась. Плед лежал на зеркале тихо, как кот на батарее. Ничего не происходило.

Только в комнате, кажется, стало чуть холоднее.

Глава 2. Отдано

Ноябрь 2026 года, ночь с воскресенья на понедельник

Пётр Первый не хотел быть вкусным.

Я сидела над ним третий час. На экране планшета он стоял на берегу Невы в треуголке, с подозрной трубой, и смотрел вдаль с выражением человека, который только что придумал Петербург и уже начал об этом жалеть. В левой руке у него была труба. В правой — по брифу — должна была быть пачка чипсов «Петровские. Со вкусом краба». Бриф от ООО «Хрустящий век» лежал у меня в почте, и я перечитывала его каждые двадцать минут в надежде, что там что-то изменится. Там не менялось.

«Алиса, добрый день! — писал Аркадий Пупырин, бренд-менеджер. — Получили эскизы, спасибо!!! В целом очень круто, но есть небольшие правки:

1. Пётр слишком суровый. Нужно, чтобы он был более дружелюбный. Как будто он угощает.
2. Сделайте Петра более вкусным.
3. Нева слишком синяя, у нас краб, нужно, чтобы чувствовался краб.
4. Можно убрать подозрную трубу? Наш директор думает, что это похоже на бутылку.
5. Можно оставить подозрную трубу? Наш маркетолог думает, что без неё непонятно, что это Пётр.

Спасибо!!! Ждём к среде)))»

Восклицательные знаки пачками по три и две скобки. Аркадий Пупырин писал письма так, будто каждое слово стоило ему денег, а знаки препинания были бесплатными. Я его никогда не видела, но представляла себе мужчину лет тридцати пяти, в розовой рубашке, с бородкой и с кружкой «Лучший босс», которую он сам себе купил.

Над вторым пунктом я думала дольше всего. Что значит «более вкусный» Пётр? Посыпать его укропом? Сделать треуголку в форме чипса? Нарисовать ему румянец, как у жареной курицы? Я попробовала румянец. Пётр стал похож на человека, который только что вышел из бани и узнал, что шведы взяли Нарву. Я стёрла румянец. Попробовала улыбку. Пётр с улыбкой стал похож на маньяка из американского фильма, который угощает детей конфетами в фургоне. Стёрла улыбку. Нарисовала ему крабую клешню вместо руки — просто от отчаяния, — посмотрела на это минуты три и поняла, что у меня, кажется, начинается профессиональное выгорание. Стёрла клешню.

За спиной у меня, накрытое пледом, стояло трюмо. Я старалась не оборачиваться. Не потому, что боялась — чего бояться старого зеркала с трещиной? — а потому что у меня работа. Работающий человек не оборачивается на мебель. Это профессиональная этика.

Я обернулась примерно сорок раз.

Плед лежал. Ничего не происходило. Только из-под края,

у самого пола, тянуло холодом, как из-под двери в подъезд. Я сначала подумала, что это сквозняк от окна, и проверила окно. Окно было заклеено ещё прошлой зимой бумажными полосками на хозяйственном мыле, по методу Ангелины Карловны, которая клеит окна так, как клеили в Ленинграде при Жданове, и считает, что все современные стеклопакеты — это заговор против здоровья. Окно не дуло. Дуло из-под пледа.

В половине первого ночи в дверь постучали.

* * *

— Алиса, детка, — сказала Ангелина Карловна, — вы не спите? Я так и знала, что вы не спите. Свет из-под двери, как рампа. Я зайду.

Это был не вопрос. Ангелина Карловна вообще редко задаёт вопросы — она их объявляет. Как номера в концерте: «А сейчас перед вами выступит...» Сорок лет она была конференсье Ленконцерта, выходила на сцену между фокусником и балалаечником, объявляла народных артистов и заслуженные коллективы, держала паузу, пока за кулисами меняли декорации, и умела рассказать анекдот так, что смеялись даже члены обкома. Теперь ей семьдесят шесть, и вся квартира у неё — сцена, а мы — зал. Причём зал неблагодарный, не хлопающий и платящий за аренду не вовремя.

Она вошла. На ней был шёлковый халат с драконами, тюрбан из полотенца и очки на цепочке. В руках — чашка. Ангелина Карловна никогда не входит без реквизита.

— Ромашковый, — сказала она, ставя чашку мне на стол, прямо на бриф «Хрустящего века». — От бессонницы и от мужчин. Пейте.

— Спасибо, — сказала я. — У меня нет мужчин.

— Значит, действует, — сказала Ангелина Карловна и огляделась.

Взгляд её упал на плед. Плед был клетчатый, шотландский, накрывал что-то высотой мне по колено и очевидно не был кошкой, потому что кошек в квартире не было по причине Гамлета.

— А это что за явление народу? — спросила Ангелина Карловна. — Вы завели себе мебель? Без согласования с дирекцией?

Пришлось показать. Я сдёрнула плед — быстро, как фокусник сдёргивает платок с пустой клетки, — и почему-то задержала дыхание.

Трюмо стояло у стены. Тёмное, с полустёртой позолотой, с трещиной наискосок. В нём отражалась комната, лампа, мы обе. Ничего особенного. Холодом потянуло сильнее, но Ангелина Карловна, кажется, не заметила.

— Ах, — сказала она. И потом, другим голосом, без сцены: — Ах.

Она подошла, наклонилась — медленно, придерживая тюрбан, — и провела пальцем по резьбе. Виноградные листья. Какой-то цветок. Птица, которую я в первый раз не заметила, — маленькая, с длинным хвостом, спрятанная в ли-

стях в левом верхнем углу.

— Вы знаете, детка, — сказала она тихо, — у моей бабушки было такое. Почти такое. На Васильевском, в Восьмой линии. Оно стояло в спальне, и бабушка говорила, что в него нельзя смотреть после полуночи, а то увидишь, кто за тобой стоит. Я однажды посмотрела. Мне было шесть лет.

— И кого вы увидели?

— Дедушку, — сказала Ангелина Карловна. — Он стоял за мной и ел варенье из банки. Ложкой. Ночью. Ему запрещали сладкое. Он мне потом три дня давал конфеты, чтобы я не рассказала бабушке. — Она выпрямилась. — Это было моё первое платное выступление. С тех пор я точно знаю, что молчание — это тоже номер, и его надо оплачивать.

Мы посмотрели на зеркало вместе. Отражённая Ангелина Карловна в тюрбане и с драконами смотрела на нас с достоинством вдовствующей императрицы.

— Трещина вот, — сказала она. — Жаль. Это к несчастью, говорят. Хотя мой второй муж говорил, что к несчастью — это выйти замуж за конференсье. Он был фаготист, у него было чувство юмора, как у фагота. Где брали?

— На Удельной. За тысячу.

Ангелина Карловна посмотрела на меня поверх очков. Это был взгляд, которым она когда-то, наверное, смотрела на певицу, которая забыла слова на втором куплете.

— Детка, — сказала она, — за тысячу на Удельной можно купить только неприятности. Хорошие вещи там стоят

дорого, а бесплатные — очень дорого. — Она помолчала. — Впрочем, рама хорошая. Отмоете — будет украшение. А трещину можно и не замечать. Я сорок лет не замечала, что у меня второй муж — фаготист.

Она поправила тюрбан, взяла со стола свою чашку — оказалось, это была её чашка, а не моя, и ромашковый чай предназначался не мне, она его просто принесла показать, — и пошла к двери. У двери обернулась. Ангелина Карловна никогда не уходит, не обернувшись у двери, — это у неё, как она говорит, «уход со сцены через паузу».

— И, Алиса, — сказала она, — за ноябрь. Вы помните?

— Помню. В пятницу.

— Деньги вперёд! — донеслось из кухни. Гамлет никогда не спит, когда речь идёт о деньгах.

— Видите, — сказала Ангелина Карловна, — даже птица помнит.

И вышла. Дверь закрылась. Драконы на халате ещё некоторое время шуршали по коридору, потом стихли.

Я осталась одна с зеркалом.

* * *

Плед я обратно не накинула. Это было бы глупо: как будто я испугалась. А я не испугалась. Я взрослый человек, у меня высшее образование — Мухинское училище, кафедра графики, — и я не боюсь мебели.

Вместо этого я решила его отмыть. Взялась за дело серьёзно: принесла из ванной тазик с тёплой водой, взяла старую

футболку, которую давно собиралась выбросить (на ней был нарисован единорог и написано «Верь в себя», и её подарила мне мама на двадцатипятилетие, искренне не понимая, почему я не ношу её на работу), и села на пол перед трюмо турецки.

Сначала рама. Футболка с единорогом чернела почти сразу, будто зеркало выкопали из земли, а не принесли из профессорской квартиры. Пыль была старая, слежавшаяся, с запахом — странным, не пыльным. Пахло, как пахнет в подвалах старых домов: сырым камнем, железом, немного дымом. И ещё чем-то холодным. Я знаю, что у холода нет запаха. А у этого был. Так пахнет снег, который лежит в тени двора-колодца до мая.

Резьба под пылью оказалась тоньше и красивее, чем я думала. Листья винограда, грозди, усики — каждый вырезан отдельно, с прожилками. В левом верхнем углу та птица — я теперь видела её хорошо: длинный хвост, маленькая голова, повёрнутая назад, будто она оглядывается. В правом верхнем углу — такая же птица, но смотрящая вперёд. А внизу, по центру, среди листьев, — что-то вроде солнца. Или снежинки. Или глаза. Я смотрела то так, то эдак, и оно было то солнцем, то снежинкой, то глазом, в зависимости от того, как падал свет. Как те картинки в психологических тестах, где ты должен сказать, что видишь, а потом тебе говорят, что ты не в порядке.

Потом я взялась за заднюю стенку. Задняя стенка была

из фанеры — тёмной, разошедшейся, прибитой мелкими гвоздиками. Вдоль нижнего края между фанерой и рамой была щель. И из щели что-то торчало.

Я потянула. Это была картонка. Маленькая, пожелтевшая, с обтрёпанными краями, сложенная вдвое. Я её развернула.

Это был ценник. Самодельный, вырезанный из коробки от чего-то, на обороте ещё угадывались буквы «...ЧЕНЬЕ ЮБИЛЕЙНОЕ». На лицевой стороне шариковой ручкой было написано: «Трюмо старинное. 500 р.»

Пятьсот рублей. Ровно вдвое меньше, чем отдала я. Я почувствовала то, что чувствует любой человек, узнавший, что переплатил: сначала обиду, потом злость, потом желание немедленно найти виноватого, а потом сразу — понимание, что виноватый сбежал между куртками покупателей, а ворона ничего не скажет.

А ниже цены был список.

Даты. Шариковой ручкой, разными чернилами — синими, чёрными, одна даже фиолетовыми, — разными почерками. Столбиком.

«25.01.2015 — отдано.

25.01.2017 — отдано.

25.01.2019 — отдано.

25.01.2021 — отдано.

25.01.2023 — отдано.

25.01.2025 — отдано».

Шесть дат. Все — двадцать пятое января. Через год. Как

по расписанию. И везде одно слово: «отдано».

Не «продано». Не «передано». Не «подарено». Отдано.

Я перечитала три раза. Слово не изменилось. Почему-то от этого стало ещё хуже, как будто я надеялась, что на третий раз там окажется что-нибудь безобидное. «Отмыто». «Отремонтировано». «Отдано в чистку».

Последняя дата была январь 2025-го. Следующая по расписанию — январь 2027-го. Через два месяца.

Я положила ценник на пол, рядом с тазиком, и некоторое время сидела, обняв колени. Зеркало смотрело на меня трещиной. Мне вдруг показалось, что трещина лежит не слепо, как трещины лежат на стёклах, на асфальте, на тарелках, — а смотрит. Как будто это не трещина, а полузакрытый глаз. Длинный, узкий, от уголка до уголка.

Я мотнула головой, отгоняя глупость. Встала. Взяла телефон.

* * *

Когда тебе страшно, лучше всего сделать что-то совершенно рациональное. Например, зауглить.

«Копейка антиквар Удельная».

Интернет, как всегда, знал всё и ничего. Пара старых объявлений в интернете: «Продаю самовар, тот самый, Копейка, звонить после обеда». Фотография с какого-то форума любителей старины, на которой человек в пятнистом пальто держал в руках икону и выглядел так, будто икона держала его. И три комментария на форуме «Барахолка СПб: отзывы

о продавцах».

Первый был от пользователя Petrovich_1958:

«Копейка забирает вещи с довеском. Будьте осторожны».

Второй — от пользователя Тамара вяжет:

«У него товар не просто старый, он ходит по рукам. Я брала у него шкатулку, через месяц отнесла обратно. Сказал, обратно не берёт. Оставила на лотке и ушла. Через неделю шкатулка была у меня дома на комод. Муж говорит, что я сама принесла. Я не приносила».

Ниже кто-то ответил: «Тамара, вы, наверное, забыли. Бывает». И Тамара ответила: «Мне 54 года, я главный бухгалтер, я ничего не забываю». И поставила смайлик, который, судя по всему, должен был означать улыбку, но выглядел как угроза.

Третий комментарий был без подписи, вернее, подпись была — «гость», — и написан он был в 2023 году, двадцать шестого января:

«если купил, возвращай сразу, пока не глянул».

Без заглавных букв, без точки. Как будто человек торопился. Или как будто у него замёрзли пальцы.

Я пролистала ниже. Там кто-то писал про «Зеркальную ведьму с Удельной» — мол, есть такая бабка, которая «смотрит людям в зеркала» и «знает, где у города изнанка». Кто-то ответил, что это городская легенда, как Пиковая дама в Михайловском замке и чёрный трамвай на Охте. Кто-то ответил, что Пиковую даму он видел лично, в 2004 году, после

выпускного, и что она была похожа на завуча. Дальше пост съехал в обсуждение выпускных, завучей и того, как раньше было лучше, и я закрыла вкладку.

Я опустила телефон.

Итак. Я отдала последние деньги за вещь, от которой избавлялись. Не продавали — отдавали. Раз в два года, двадцать пятого января, как будто это была какая-то годовщина. И каждый раз, судя по всему, у этого трюмо появлялся новый владелец. Который потом его отдавал. И кто-то — может быть, сам Копейка, может, Тамара-бухгалтер, может, гость без точки — писал на ценнике «отдано».

А мне Копейка этот ценник не отдал. То есть он отдал мне зеркало, а ценник, тот, что был на лотке, сорвал и спрятал. А этот, старый, забыл. Или не забыл. Или ценник сам спрятался в щель, потому что хотел, чтобы я его нашла. Ну нет, это уже слишком. Ценники не прячутся. Ценники — это самые честные вещи на свете. Они всегда говорят, сколько стоит. В отличие от продавцов.

— Ладно, — сказала я вслух. — Ладно. Утром отвезу обратно.

Мне сразу стало легче. Решение — это как зонтик: от дождя не спасает, но держать в руке приятно.

* * *

Я хотела снова накрыть трюмо пледом. Правда хотела. Подошла, взяла плед, встряхнула.

И посмотрела.

Не специально. Просто зеркало стоит на уровне колен, и когда ты наклоняешься, чтобы его накрыть, ты, естественно, видишь в нём себя. Это физика. Оптика. Восьмой класс, учебник Пёрышкина, угол падения равен углу отражения.

Я увидела себя — сверху, наклонившуюся, с пледом в руках. Взъерошенную, в мамином свитере с оленями, который я ношу дома, потому что он тёплый, а на улицу не ношу, потому что олени. Под глазами тени — не художественные, а от недосыпа. Трещина шла поперёк, разрезая меня, как всегда, от левого виска к правому уголку рта.

Я выпрямилась.

Отражение выпрямилось.

С опозданием.

Небольшим. Полсекунды. Может быть, меньше. Как бывает в видеозвонке, когда интернет плохой, и твоё лицо на экране чуть-чуть отстаёт от твоего лица в жизни. Я выпрямилась — а отражение ещё мгновение оставалось наклонённым, а потом — раз — и догнало меня, и встало ровно, как будто, так и было.

Я замерла.

Отражение тоже замерло. Вовремя.

Я медленно подняла правую руку. Отражение подняло левую — как положено, зеркально, — и тоже медленно, и тоже вовремя.

Я опустила руку. Отражение опустило руку.

— Ага, — сказала я. — Ага. Это я устала.

Отражение сказало «Ага» вместе со мной. Губы двигались синхронно. Всё было нормально.

Я быстро, очень быстро, повернула голову влево.

Отражение повернуло голову вправо — с опозданием. Со всем маленьким. На долю секунды. Но я видела. Видела, как оно — как я — как она — сначала посмотрела прямо на меня, а потом, поняв, что отстала, торопливо повернулась.

И ещё — это было хуже всего — мне показалось, что, прежде чем повернуться, она закатила глаза.

Как будто устала за мной успевать.

Я села на кровать. Кровать скрипнула. Отражение тоже село — вовремя, — и кровать в зеркале тоже скрипнула, вернее, не скрипнула, потому что зеркала не скрипят, но выглядела она так, будто скрипнула.

— Значит, так, — сказала я отражению. — Слушай меня внимательно.

Отражение слушало. Очень внимательно. Даже слишком.

— Ты — оптический эффект. Ты — результат недосыпа, голода, Петра Первого и бабушки с Удельной. Ты — моё воображение. Я художник, у меня богатое воображение, за него мне платят. Плохо, но платят. Тебя не существует. Поняла?

Отражение молча смотрело на меня. Потом — ровно в тот момент, когда я моргнула, — оно, кажется, показало мне язык.

Я не уверена. Я моргнула. Когда я открыла глаза, отражение сидело на кровати с серьёзным видом, руки на коле-

нях, как первоклассница на линейке. Ни малейшего намёка на язык.

Но выражение лица у него было такое, как у моей сестры Кати, когда мама спрашивала: «Кто съел варенье?» Невинное. Слишком невинное.

— Я тебя видела, — сказала я.

Отражение пожало плечами. Синхронно со мной, потому что я тоже пожала плечами. Но мне показалось, что оно пожало чуть выше.

* * *

Я накрыла его пледом.

Потом подумала и сверху положила ещё куртку. Потом подумала ещё и прислонила к трюмо стул спинкой — не знаю зачем, так делают в фильмах, когда подпирают дверь от зомби. Зеркало, конечно, никуда не собиралось уходить. Но мне стало спокойнее.

Потом я легла и выключила лампу.

Сна не было. Был потолок с лепниной, по которому ползали полосы света от фар машин во дворе. Была батарея, которая постукивала, как будто кто-то внутри неё просил выпустить. Был Валера за стеной, который во сне отбивал ритм пальцами по стене — тихо, но отчётливо: тук-тук-тук, тук-тук-тук-ту-тук. «Сломанный трамвай», новая песня, рабочее название «Депрессия в ре миноре». Был Гамлет на кухне, который время от времени говорил что-то по-немецки — сонно, вполголоса, как старый актёр, повторяющий во сне свою

роль.

И был холод. Он тёк из-под пледа, из-под куртки, из-под стула — тонко, как сквозняк, по полу, — и подбирался к кровати. Я натянула одеяло до носа. Потом с головой. Под одеялом было темно и тепло, и я лежала там, как в детстве, когда боялась грозы.

Грозы.

Вот тут, наверное, надо рассказать про глаз. Я обещала.

* * *

Мне было семь лет. Мы жили летом на даче под Череповцом — маленький домик, шесть соток, теплица, которую папа строил три года и так и не достроил, баня, которую папа достроил, но которая сгорела, и яблоня, которую никто не строил, но которая росла лучше всего. В августе была гроза. Настоящая, северная, с градом, с ветром, который клонил берёзы до земли, с молниями, от которых в доме становилось светло, как днём, а потом темно, как в погребе.

Мама с Катей сидели на кухне и считали секунды от молнии до грома. Папа был в городе. А я стояла у окна в комнате и смотрела на грозу. Мне было не страшно. Мне было интересно. Я смотрела, как молнии рисуют на небе трещины — белые, ветвистые, похожие на корни деревьев, растущие вниз головой, — и думала, что если успеть их запомнить, то потом можно нарисовать.

Я смотрела в окно. В стекле отражалась комната, и я, и лампа. А сквозь отражение была видна гроза. И вот одна

молния ударила совсем рядом — в берёзу у забора, — и на секунду стало так светло, что отражение в стекле пропало, и я увидела... не помню что. Честно не помню. Помню только, что за окном, во дворе, под дождём, кто-то стоял. И смотрел на меня. Не человек. Вернее, человек, но какой-то... вывернутый. Как будто его нарисовали на обороте листа, и он просвечивал.

А потом окно лопнуло. От ветра, от грома, от удара — я не знаю. Стекло разлетелось внутрь, и маленький осколок, крошечный, тоньше иголки, попал мне в левый глаз.

Дальше — больница в Череповце, потом в Вологде, мама, которая не спала три ночи, папа, который приехал из города на попутке и плакал в коридоре, думая, что я не вижу, хирург с усами, как у Будённого, который сказал: «Повезло девочке». И правда повезло. Глаз видит. Почти так же, как правый. Только на радужке остался шрам — тонкая светлая линия, от зрачка к краю, похожая на трещину на стекле. Если не знать — не заметишь. А если знать — видно.

И ещё одна вещь, о которой я никогда никому не рассказывала, кроме мамы, а мама сказала: «Не выдумывай» и повела к окулисту, и окулист тоже сказал: «Не выдумывай», только по-латыни.

Краем левого глаза я иногда вижу второй слой.

Не всегда. Не по заказу. Просто иногда — когда смотришь не прямо, а вскользь, когда устала, когда задумалась, — мир на секунду становится как калька, наложенная на рисунок.

Сквозь привычное просвечивает что-то другое. Дверь в стене, где двери нет. Окно в глухом брандмауэре. Арка, которая ведёт во двор, а сквозь неё — другой двор, тот же, но пустой, с жёлтым дрожащим светом, как в старом фильме. Люди на улице — и за ними, чуть сдвинутые, как плохо отпечатанные открытки, их тени. Только тени не на асфальте, а в воздухе.

Я моргаю — и всё исчезает.

Я привыкла. Я научилась не смотреть. Научилась поворачивать голову так, чтобы смотреть правым глазом. Научилась рисовать то, что вижу прямо, а не вскользь. Потому что когда я в детстве рисовала то, что вижу вскользь, учительница рисования вызывала маму в школу, а мама вела меня к психологу, и психолог давал мне раскраски с бабочками.

Но иногда, когда я рисую Петербург — дворы, арки, лестницы, — у меня в рисунке появляется что-то, чего я не рисовала. Тень в окне. Дверь в стене. Лишний человек в толпе. И я никогда не могу понять, откуда это. И никогда не могу поймать как следует. Оно ускользает, как сон, который помнишь до того момента, как начнёшь рассказывать.

Это, может быть, и есть причина, по которой я приехала в Петербург из Череповца. В Череповце второго слоя почти нет. Там всё одним слоем — заводы, Шексна, панельки, дача. А в Петербурге его столько, что он проступает отовсюду. Город, построенный на болоте, на костях, на чужой воле, — он как старый холст, который много раз записывали поверх. Если присмотреться — видны прежние рисунки.

Я, по крайней мере, так думала. Пока не купила зеркало.

* * *

Я уснула под утро. Мне снился Пётр Первый. Он стоял на берегу Невы в треуголке, грыз чипсы «Петровские» со вкусом краба и говорил мне голосом Аркадия Пупырина: «Сделайте меня более вкусным, Алиса. И уберите трещину. Трещина — это не наш бренд». А за его спиной, на воде, стояло трюмо, и в нём отражалась не Нева, а другая река, тёмная, неподвижная, покрытая льдом. И на льду кто-то стоял.

Проснулась я от холода.

Было шесть утра, ещё совсем темно. Одеяло сползло. Батарея молчала — видимо, в котельной что-то случилось, как случается каждую осень, ровно в тот день, когда становится по-настоящему холодно. Из рта шёл пар. Не сильно, но шёл. На стекле окна изнутри — изнутри! — была изморозь. Тонкая, едва заметная, похожая на папоротник.

И на пледе, которым было накрыто трюмо, тоже был иней.

Я лежала и смотрела на этот плед. Белые кристаллики на шотландской клетке, как сахарная пудра на пироге. Стул, прислонённый спинкой, стоял на месте. Куртка лежала на месте. Всё было на месте. Только покрыто инеем.

Я встала, подошла, присела на корточки. Мне было страшно. Это я теперь признаю. Ночью я ещё делала вид, что нет, а в шесть утра в холодной комнате, с паром из рта, можно уже не делать вид.

Я сняла куртку. Потом плед. Иней посыпался на пол с ти-

хим шорохом.

Трюмо стояло, как стояло. Мутное, с трещиной. В нём отражалась я — бледная, в свитере с оленями, с пледом в руках.

Я подняла руку и, не удержавшись, коснулась трещины подушечкой указательного пальца.

Стекло было ледяным. Не холодным, как вчера, — ледяным, как металл на морозе, к которому прилипает язык, если ты дурак и тебе девять лет. Палец скользнул вдоль трещины, от середины вниз, — и на мгновение мне показалось, что трещина под пальцем пульсирует. Тихо, ровно. Как жилка на виске. Как будто это не трещина, а тонкий сосуд, и по нему что-то течёт.

Я отдёрнула руку. Посмотрела на палец. Никакой грязи, никакой влаги. На подушечке — белое пятнышко, как от лёгкого обморожения. И холод. Холод, который не проходил, даже когда я сунула палец в рот, как в детстве.

Отражение в зеркале тоже сунуло палец в рот. Вовремя. И посмотрело на меня с таким выражением, будто хотело сказать: «Ну и что ты теперь будешь делать, умница?»

Я знала, что буду делать.

Я собралась за пять минут. Натянула джинсы прямо на пижамные штаны, потому что было холодно, свитер с оленями оставила, потому что было не до красоты, сверху — зелёную куртку, шарф, шапку. Сунула трюмо обратно в пакет — большой, из гипермаркета, синий, в который оно как раз

помещалось, если не застёгивать, — завязала ручки узлом. Сунула в карман ценник со списком дат.

Выходя, я ни разу не посмотрела в зеркало. Ни разу. Даже когда завязывала узел — смотрела в потолок.

В коридоре было темно и тихо. Розалия в кадке шелестела от сквозняка. Бюст Чайковского смотрел на меня из-под шляпы с осуждением. Гамлет на кухне спал, накрытый платком, — но когда я проходила мимо, из-под платка раздалось сонное, тихое:

— Антракт.

— Да, — сказала я. — Антракт.

И вышла на лестницу, волоча за собой синий пакет с зеркалом.

Был понедельник, шесть двадцать утра. Удельный рынок по будням открывается в восемь, но некоторые продавцы приходят раньше. Я очень надеялась, что Копейка — из таких.

Почему-то я была уверена, что он придёт. Так же, как была уверена, что бабушка в платке с цветочками тоже будет там. Сидеть на своём стульчике и вязать. И ждать меня.

Глава 3. Вещь или правда

Понедельник, утро

Есть люди, которые любят ранние утра. Они встают в пять, бегают вокруг Таврического сада, пьют смузи из сельдерея и пишут в соцсетях: «Утро — лучшее время дня!» Я не знаю, кто эти люди. Я подозреваю, что их не существует, а посты за них пишет нейросеть, чтобы остальным было стыдно.

В шесть сорок утра понедельника Петербург выглядит так, будто его забыли выключить на ночь, и он разрядился. Фонари горят жёлтым, но ничего не освещают — свет висит вокруг них шарами, как сахарная вата. Небо чёрное. Асфальт чёрный. Люди на остановках чёрные, потому что в ноябре в Петербурге все одеваются в чёрное — не из моды, а из солидарности с небом. Единственное яркое пятно на всей Большой Зелениной — это была я. В зелёной куртке, в поло-сатом шарфе, с синим пакетом из гипермаркета, из которого торчал угол позолоченной рамы. Я была похожа на попугая, сбежавшего из клетки с краденым имуществом хозяина.

Пакет был тяжёлый. Тяжелее, чем вчера. Я не знаю, как такое возможно, — может, зеркало за ночь набрало вес от нервов, как я после сессии, — но ручки пакета резали пальцы так, что я каждые сто метров меняла руку.

В метро в это время едут люди, которые выглядят как статисты в фильме про конец света. Никто ни на кого не смот-

рит. Все стоят, держась за поручни, с закрытыми глазами, и покачиваются, как водоросли. Я села в угол, поставила пакет между ног и зажмурилась тоже. Не потому, что хотела спать, — потому, что напротив было тёмное стекло, и я не хотела в нём ничего видеть. Ни себя, ни второго слоя, ни высоких фигур в пустых вагонах.

— Девушка, — сказал кто-то рядом. — У вас пакет шевелится.

Я открыла глаза. Рядом сидела пожилая женщина в берете и смотрела на мой пакет с интересом, но без страха. Видимо, в петербургском метро в семь утра шевелящимся пакетом никого не удивишь.

Я посмотрела. Пакет не шевелился.

— Это вагон качает, — сказала я.

— А, — сказала женщина. — А я подумала, у вас там кот. Я раз везла кота в пакете к ветеринару, так он мне весь пакет изодрал. Сибирский был, Барсик. Пятнадцать лет прожил. А у вас что?

— Зеркало.

— Зеркало, — повторила женщина и посмотрела на пакет уже по-другому. — Старое?

— Старое.

— Ой, деточка, — сказала женщина, — старые зеркала в пакете не возят. Их в простыню заворачивают. Белую. И лицом к себе, а не наружу. А то оно в дороге смотрит. Мало ли кого увидит.

И вышла на «Чёрной речке», оставив меня с этой информацией наедине.

Я посмотрела на пакет. Зеркало в нём стояло лицом наружу. Сквозь синий полиэтилен оно, конечно, ничего видеть не могло. Наверное. Я на всякий случай развернула пакет так, чтобы зеркало смотрело на меня. Потом подумала, что тогда оно смотрит на меня, и развернула обратно. Потом поставила боком, чтобы оно смотрело в стену вагона. Мужчина, напротив, открыл один глаз, посмотрел, как я кручу пакет, закрыл глаз и, кажется, решил, что это ему снится.

* * *

Удельный рынок в будний день утром — это совсем другое место, чем в воскресенье. В воскресенье тут ярмарка, карнавал, базар, Багдад. А в понедельник утром — тишина, морось, пустые ряды и несколько упрямых торговцев, которые раскладывают товар с таким видом, будто делают это назло всему миру. Пахнет не пирожками, а мокрым картоном и холодным чаем из термосов. Вороны ходят между лотками по-хозяйски, как ревизоры.

Я шла по рядам быстро, почти бегом, и мысленно репетировала речь.

«Здравствуйте. Я вчера купила у вас зеркало. Я хотела бы его вернуть. Вот ценник. На нём написано, что оно стоило пятьсот рублей и что его отдавали шесть раз. Это называется недобросовестная торговля. Я знаю свои права. У меня есть Закон о защите прав потребителей».

У меня, конечно, не было Закона о защите прав потребителей. У меня был синий пакет, ценник от печенья «Юбилейное» и свитер с оленями под курткой. Но речь звучала хорошо.

Копейка сидел на том же месте.

Тот же складной столик, те же подсвечники, та же открытка «С Новым, 1957 годом!» — по-моему, даже на том же месте лежала. То же пятнистое пальто. Только сегодня в руке у него был гранёный стакан в подстаканнике — железнодорожном, с паровозом и надписью «Октябрьская ж. д.», — и он пил из него чай, держа стакан двумя пальцами, оттопырив мизинец, как граф.

Он увидел меня. И поперхнулся.

Чай пошёл у него носом. Он закашлялся, замахал руками, стакан в подстаканнике описал опасную дугу, но удержался — видимо, у Копейки был опыт. Ворона, сидевшая на соседнем ящике, отпрыгнула и посмотрела на него осуждающе.

— Я же сказал, — просипел Копейка, отдышавшись, — товар обратно не беру!

— Вы ничего такого не говорили, — сказала я.

— Подразумевал! — Он выставил ладонь вперёд, как будто я собиралась на него напасть, и зачастил, глотая слова, будто выучил текст наизусть и боялся сбиться. — Вещь вы купили. Добровольно. Я вас не заставлял. Все претензии после покупки не принимаются. Это рынок, мадемуазель, не магазин. Тут нет книги жалоб. Тут нет администратора. Тут

есть только я, и я — против.

— Здравствуйте, — сказала я, потому что речь начиналась со слова «здравствуйте» и мне не хотелось её терять. — Я вчера купила у вас зеркало...

— Помню, помню. Хорошее зеркало. Поздравляю с покупкой.

— Я хотела бы его вернуть. Вот ценник...

Я полезла в карман за ценником, одновременно пытаюсь второй рукой выудить зеркало из пакета, чтобы показать, — и в этот момент Копейка вскочил. Стремительно, как будто под ним загорелся стул. Схватил меня за локоть — пальцы у него были холодные и сильные, неожиданно сильные для человека, который пьёт чай с оттопыренным мизинцем, — и почти вытолкнул в проход.

— Идите, идите, мадемуазель, — бормотал он. — Нечего мне голову морочить. Нечего тут. Идите. Всего доброго. Заходите ещё. То есть не заходите.

От него пахло «Шипром» и страхом. Я никогда раньше не знала, как пахнет страх, но теперь знаю: «Шипром», мокрым пальто и холодным чаем.

Я попятилась, споткнулась о коробку с книгами — коробка была подписана маркером «КЛАССИКА. ВСЁ ПО 50», и из неё торчал Толстой, — и чуть не упала. Пакет с зеркалом рванулся из рук. Я поймала его в последний момент, прижала к груди, и угол рамы больно въехал мне под рёбра.

И в этот момент с соседнего ряда раздался голос.

— Оставь её, Копейка.

* * *

Тот же голос. Хрипловатый, спокойный, без вопросов. Как сводка погоды.

— Зеркало ты ей продал честно? Честно. Теперь не твоя забота.

Клавдия Ивановна — тогда я ещё не знала, что она Клавдия Ивановна, — поднималась из-за своего лотка. Медленно, с достоинством, как поднимается из-за стола президиума председатель собрания, который сейчас скажет что-то важное. Отряхнула подол шерстяной юбки. Отложила вязание — я заметила, что за ночь у неё прибавилось сантиметров двадцать какого-то бледно-голубого полотна. Подошла ко мне.

Она была ниже меня на голову. Наверное, метр пятьдесят, не больше. Но когда она подошла, мне захотелось встать по стойке смирно. Я так стояла один раз в жизни — в девятом классе, когда директриса поймала нас с Иркой Барашкиной за курением за гаражами, и мы не курили, а только держали сигареты для фотографии, но объяснять это директрисе было бесполезно.

— Ты пришла зеркало возвращать? — спросила Клавдия Ивановна. — Деньги назад просить?

Она смотрела на меня в упор. Без сочувствия. Без злости. Взгляд был тяжёлый, испытующий, как у врача, который смотрит рентгеновский снимок и уже всё понял, но ещё не

решил, как тебе сказать.

Я кивнула.

— А если я тебе скажу, — продолжила она, — что денег тебе тут не дадут, а зеркало уже твоё? Что будешь делать?

— Я... — Голос у меня вышел жалкий, как вчера в комнате. — Я не знаю. Мне нужны эти деньги. У меня до аванса... у меня Пётр Первый невкусный... и за комнату в пятницу... А зеркало, оно... — Я искала слово. — Оно странное. В нём что-то не так.

— В том-то и дело, — сказала Клавдия Ивановна. — Что не так. Я тебя вчера предупредила. Не смотри попусту. — Она чуть наклонила голову. — Ты посмотрела?

Я опустила глаза. Вспомнила холод на пальце. Пульсацию под подушечкой. Отражение, которое опоздало. Отражение, которое закатило глаза.

— Посмотрела, — сказала я.

— Попусту?

— Не знаю. — Я подумала. — Оно мне язык показало.

Копейка за моей спиной издал звук, как будто наступил на кошку. Клавдия Ивановна не издала никакого звука. Но что-то в её лице изменилось — чуть-чуть, на миллиметр, как меняется лицо у человека, который ждал автобус двадцать минут и вдруг увидел его на повороте.

— Язык, значит, — сказала она. — Ну-ну. Быстро.

— Что быстро?

Она не ответила. Посмотрела на меня ещё раз — долго,

внимательно, сначала в правый глаз, потом в левый. В левый — дольше. Я почувствовала себя под этим взглядом, как пирожок на витрине, который выбирают из десяти одинаковых.

— Ну вот что, — сказала Клавдия Ивановна. — Выбирай.

— Что выбирать?

— Вещь тебе или правда.

Я моргнула.

— В смысле?

— В прямом. — Голос у неё был ровный, будничный, как будто она предлагала мне выбрать между салфеткой круглой и квадратной. — Хочешь вещь — забирай своё зеркало. Отвези домой, отмой, повесь. Не смотри в него после полуночи, не трогай трещину. Будет стоять, будет рама. Пройдёт время — отдашь. Как все. Хочешь правду — тогда другой разговор. Одно. Другого не будет.

— Не слушай её!

Это Копейка. Он вылез из-за моей спины, как суслик из норы, и встал между мной и Клавдией Ивановной — вернее, сбоку, потому что встать, между нами, у него не хватило храбрости. Лицо у него было красное, небритое, глаза бегали так, что у меня закружилась голова.

— Не слушай её, мадемуазель! — зашипел он. — Полоумная бабка! Она тебе наговорит — век распутывать будешь! Сорок лет тут сидит, людям голову морочит! Забирай зеркало и уходи, пока цела! Хочешь — я тебе сотню верну? Двести? — Он полез в карман пальто, вытащил горсть монет,

тех самых, моих, по десять рублей, и протянул мне. — Вот. Двести. Бери и иди.

Это было так неожиданно, что я засмеялась. Человек, которого зовут Копейка, потому что он за копейку удавится, только что предлагал мне двести рублей, лишь бы я ушла. Это было, как если бы Гамлет вдруг сказал: «Деньги потом, не к спеху».

Клавдия Ивановна на Копейку даже не посмотрела. Она смотрела на меня.

— Ну? — сказала она.

Я молчала.

Деньги кончились. Обедать не было. До аванса четыре дня — Пупырин обещал второй транш «сразу после утверждения эскизов», а эскизы не утверждались, потому что Пётр был недостаточно вкусный. В пятницу — за комнату. Я могла бы взять двести рублей у Копейки. Могла бы вернуть зеркало. Могла бы перепродать его в интернете — тот мужчина в электричке купил бы, я видела по его глазам. Могла бы, в конце концов, просто поставить его в угол, накрыть пледом и никогда больше не снимать. Это было бы разумно. Это было бы по-взрослому. Мама бы одобрила.

Но слово «правда» стучало у меня в горле, как второй пульс.

Потому что я всю жизнь видела краем глаза то, чего не видели другие. И всю жизнь мне говорили: «Не выдумывай». Учительница рисования. Мама. Окулист по-латыни. Психолог.

лог с раскрасками. И я научилась не выдумывать. Научилась смотреть правым глазом. Научилась рисовать то, что видно прямо, — ёжиков, которые делятся, Петра с чипсами. А то, что видно вскользь, я оставила там, вскользь. Как оставляют в детстве на чердаке коробку с вещами, которые жалко выбросить, но стыдно показывать.

А сейчас передо мной стояла маленькая бабушка в платке с цветочками и предлагала мне эту коробку открыть.

Я подняла глаза и встретила её взгляд. Светлый, почти прозрачный, как вода в проруби. Она не отводила глаз. И в глубине этого взгляда я увидела не угрозу, не насмешку, а ожидание. Терпеливое, усталое ожидание. Как будто она знала, что я выберу, и ждала только, когда я сама это пойму.

— Правду, — сказала я.

* * *

Тишина повисла на мгновение. Даже ворона на ящике замерла с поднятой лапой.

Копейка открыл рот, закрыл, открыл снова. Сунул монеты обратно в карман. Посмотрел на меня так, как смотрят на человека, который только что добровольно записался в армию.

— Дура, — сказал он тихо, почти ласково. — Ой, дура...

И пошёл к своему столику, сутулясь, подволакивая ногу, которой вчера, кажется, не подволакивал. Сел. Взял стакан в подстаканнике. Стакан звякнул о подстаканник: руки у него тряслись.

Клавдия Ивановна кивнула. Не улыбнулась — по-моему,

она вообще не улыбается, у неё лицевые мышцы для этого не предусмотрены, как у Петра Первого на моём эскизе, — но во взгляде мелькнуло что-то похожее на усталое одобрение.

— Тогда смотри, — сказала она. — Но не одна.

И взяла меня за локоть. Пальцы у неё были сухие, тёплые и твёрдые, как корни. Она повела меня вглубь рынка — мимо лотков с фарфором, где фарфоровые балерины провожали нас взглядами без рук, мимо коробок с советскими значками («Ударник коммунистического труда», «Отличник ГТО», «Почётный донор», «Победитель соцсоревнования 1979 года» — целая жизнь, проданная по десять рублей за штуку), мимо шаурмиста, который снова помахал мне щипцами, — туда, где ряды кончались и начиналась стена. Старая кирпичная стена какого-то склада, вдоль которой стояли штабелями книги. Тысячи книг. Без обложек, с обложками, разбухшие от сырости, перевязанные бечёвкой. Пахло старой бумагой, клеем и тишиной.

Клавдия Ивановна остановилась у штабеля и повернулась ко мне.

— Зеркало, которое ты купила, — сказала она без предисловий, — не мебель. Оно — канал. Один из тех, через которые город дышит наизнанку.

Я моргнула. Слова не складывались в смысл. Они складывались в аннотацию к фэнтези-роману в мягкой обложке, который продают в «Буквоеде» на столе у кассы.

— Канал? — переспросила я. — Как Грибоедова?

— Не ёрничай.

— Я не ёрничаю. Я правда не понимаю. Город дышит?

— Город дышит. — Клавдия Ивановна произнесла это так, как произносят «вода мокрая». — Под Питером есть слой, которого ты не видишь. Вернее, видишь, — она снова посмотрела мне в левый глаз, — да не смотришь. Замурованные арки. Ходы. Провалы. Дворы, которые были и которых нет. Всё, что город за триста лет проглотил, — оно не исчезло. Оно там. С изнанки. А зеркало в твоей комнате — дверь в этот слой.

Внутри меня что-то закипело. Нет, не страх — злость. Простая, человеческая, понятная злость голодного человека, у которого отобрали последнюю тысячу. Я не спала ночь. Я тащила это проклятое трюмо через весь город дважды. У меня в кармане ценник с шестью «отдано» и полшоколадки. А какая-то бабка на рынке рассказывает мне сказки про изнанку. Как будто я пришла сюда за сказками, а не за деньгами.

— Вы издеваетесь? — Голос дрогнул. — Я пришла за деньгами. Я хочу вернуть зеркало и забыть, что вообще его видела. А вы мне про... про каналы? Про изнанку? Вы, может, ещё скажете, что у меня в зеркале живёт Пиковая дама? Мне на форуме писали, её видели в две тысячи четвёртом году, она была похожа на завуча!

— Я тебе не сказки рассказываю, — оборвала Клавдия Ивановна.

Сказала негромко. Без злости. Но так, что я замолчала,

как выключенное радио.

— Если бы я врала, — продолжила она спокойно, — ты бы уже ушла. Но ты стоишь.

Я хотела возразить. Хотела развернуться и уйти, бросить её тут с её книгами, с её изнанкой, с её прозрачными глазами. Хотела. Но ноги не слушались. Ноги стояли на мокром асфальте у кирпичной стены, как приклеенные.

— Откуда вы знаете про трещину? — спросила я тихо. — Про то, что я видела?

— Потому что я тоже видела, — сказала Клавдия Ивановна. — Когда-то.

Она отвернулась и посмотрела на стену. На кирпичах, у самого её плеча, была старая, полустёртая надпись мелом — я не разобрала, что там было написано, кажется, «Здесь был...» и дальше неразборчиво. Клавдия Ивановна смотрела на эту надпись так, как смотрят на фотографию человека, которого давно нет.

И тут я сказала то, чего никогда никому не говорила. Даже маме. Даже Вике.

— Я всегда это чувствовала, — сказала я, не поднимая глаз. — Что за фасадами есть ещё что-то. Слой. Другой. Что город не заканчивается там, где видно. Я рисую его. Всегда рисую. Дворы, арки, лестницы. И всегда в рисунке появляется что-то, чего я не рисовала. Дверь в стене. Лишний человек. Тень в окне. И я никогда не могу это поймать. Оно ускользает.

Я замолчала. В горле пересохло.

Клавдия Ивановна повернулась ко мне. В её взгляде не было ни жалости, ни сочувствия. Только ожидание — то же самое, что и раньше. И, может быть, — совсем чуть-чуть — узнавание.

— Ты не ошиблась, — сказала она наконец. — Этот слой есть. А зеркало, которое ты купила, — ключ к нему. Но назад дороги нет, дочка. Если я расскажу тебе, что делать, ты уже не сможешь закрыть дверь и забыть. Не получится. Я пробовала.

Денег не было. Обедать не было. До аванса четыре дня. В пакете у меня в руках стояло тяжёлое зеркало с трещиной, которое показывает язык. И я знала, что если вернусь домой и не узнаю, что это такое, то буду думать об этом всю жизнь. Буду лежать в восемьдесят лет в доме престарелых в Череповце, смотреть в потолок и думать: а что было бы, если бы я тогда сказала «да»?

— Я не хочу забывать, — сказала я.

Клавдия Ивановна кивнула. В её лице опять мелькнуло то самое — усталое, как у учительницы, которая тридцать лет повторяет одно и то же, и вот наконец один ученик понял.

— Тогда слушай, — сказала она. — Я дам тебе средство. Только то, что тебе понадобится, — не то, что ты думаешь.

* * *

Она сунула руку в карман шерстяной юбки. Я, честно говоря, ожидала чего угодно — амулета, свечи, пучка травы,

пузырька с мутной жидкостью, может быть, кристалла из магазина эзотерики. Мама однажды привезла мне из Кисловодска кристалл «от сглаза», он был розовый и стоил восемьсот рублей, и единственное, от чего он помог, — это от лишних восьмисот рублей.

Клавдия Ивановна вытащила камешек.

Серый. Маленький — с фалангу большого пальца. Неровный, угловатый, с тусклым металлическим блеском на сколах, как у грифеля простого карандаша. С рыжими вкраплениями, похожими на засохшие капли крови, или на ржавчину, или на веснушки. Обычный камень. Такие лежат под ногами в любом карьере, на любой железнодорожной насыпи. Таким можно разбить окно, если очень захочется.

Она взяла мою руку — свободную, левую, — разжала пальцы и вложила камень прямо в центр ладони.

— Свинцово-цинковая руда, — сказала она. — Простая порода. Но она держит силу, которая идёт через стекло.

Камень был тёплым.

Не от её руки — она держала его в кармане, а на улице было плюс два. И не от моей — моя рука была ледяная, я забыла перчатки дома. Он был тёплым сам по себе. Изнутри. Как живой. Как маленький зверёк, мышонок, птенец, свернувшийся у меня на ладони. Я даже почувствовала — или мне показалось, — что он чуть-чуть пульсирует. Медленно. Как сердце спящей собаки.

— Когда будешь смотреть в зеркало, — сказала Клавдия

Ивановна, не отпуская моих пальцев, — зажми в кулаке. Увидишь то, что скрыто.

Я pokrутила камень. Ничего особенного. Просто кусок горной породы. На одном боку — тонкая блестящая жилка, как будто кто-то провёл по нему серебряной ручкой. На другом — скол, свежий, светлый.

— И как это поможет со стеклом? — спросила я. — Мне его надо разбить? Или, не знаю, натереть? Я видела ролик, там зеркала натирают газетой с уксусом...

Клавдия Ивановна не ответила.

Она повернула голову и смотрела куда-то мне за плечо, вдоль рядов. Лицо у неё стало другим — собранным, жёстким, как у человека, который услышал на лестнице шаги и узнал их.

Я обернулась.

По рынку шёл холод.

Я не знаю, как ещё это описать. Он не дул, как ветер. Не падал, как снег. Он поднимался от земли — от мокрого асфальта, от картона под лотками, от луж, — медленно, как вода в ванне, когда открываешь кран. Сначала по щиколотку. Потом по колено. Я почувствовала его ногами сквозь джинсы и пижамные штаны — плотный, тяжёлый, как будто я стою в проруби. Он цеплялся за одежду, забирался под куртку, лез в рукава. Из рта пошёл пар, хотя минуту назад не шёл.

А потом я увидела, что лужи вдоль рядов затягиваются

ледком. Прямо на глазах. От краёв к середине — тонкие белые иглы, сходящиеся, как спицы в колесе. Хрусть. Хрусть. Хрусть. Одна за другой, по всему проходу, как будто кто-то шёл по рынку и трогал каждую лужу пальцем.

Продавцы засуетились. Я видела, как мужчина в камуфляже, тот, что вчера торговал штык-ножами, торопливо заворачивает свой товар в брезент. Как женщина в соседнем ряду захлопывает чемодан с монетами и, не оглядываясь, тащит его к выходу. Как шаурмист опускает железную шторку своего ларька — с грохотом, хотя только что открылся. Все спешили. Молча. Не переговариваясь. Не глядя по сторонам. Будто их гнало невидимое. Будто они знали это — этот холод, этот хруст — и знали, что надо делать, когда он приходит: собраться и уйти.

Ворона взлетела с ящика и, хрипло каркнув, ушла куда-то за склады. За ней — вторая, третья. Через полминуты на рынке не осталось ни одной вороны. Я впервые в жизни видела, чтобы петербургская ворона чего-то испугалась.

Копейка сидел за своим столиком и не двигался. Стакан в подстаканнике стоял перед ним, и чай в стакане покрылся тонкой корочкой льда. Копейка смотрел на этот лёд и, кажется, молился. Губы у него шевелились.

— Что происходит? — спросила я. Голос у меня сел, вышло почти шёпотом.

— Ничего нового, — сказала Клавдия Ивановна. Она поправила платок — неторопливо, аккуратно, затянула узел

под подбородком. — Просто не все любят, когда кто-то открывает глаза.

Она взяла меня за запястье. Сжала. Пальцы у неё оставались тёплыми — единственное тёплое во всём этом ледяном мире, если не считать камня у меня в ладони. И посмотрела прямо в глаза. В оба, по очереди.

— Ты взяла камень, — сказала она. — Значит, ты согласилась. Игра не твоя, дочка. Но правила уже не обсуждаются.

— Я не понимаю, — выдохнула я. — Вы мне ничего не объяснили. Куда смотреть? Что делать? Какие правила? Мне нужна инструкция! Хоть какая-нибудь! Хоть как к пылесосу!

— А ты сама разберёшься, — сказала Клавдия Ивановна. — Камень не инструкция. Камень — ключ. А ключом надо уметь пользоваться.

Она отпустила мою руку. Повернулась. И пошла — в проход между лотками, туда, где холод поднимался гуще всего, где лужи хрустели одна за другой, — пошла спокойно, не торопясь, как будто шла по своей кухне за солью.

— Пойдите! — крикнула я ей в спину. — Как вас найти? Если... если что-то...

Она обернулась на ходу.

И в сером, сумеречном свете ноябрьского утра её лицо вдруг показалось мне чужим. Незнакомым. Не старушечьим — совсем другим, моложе, строже, будто сквозь одно лицо просвечивало другое, как второй слой сквозь кальку. Дли-

лось это долю секунды. Я моргнула левым глазом — и всё вернулось: платок, морщины, прозрачные глаза.

— Сегодня ночью сама узнаешь, — сказала она.

Сказала тихо. Но голос прозвучал отчётливо, ясно, на весь пустеющий рынок, как удар колокола.

— И, если увидишь высокого в чёрном — не открывай дверь.

И исчезла за углом склада.

* * *

Я стояла посреди рынка одна.

То есть не совсем одна. Копейка сидел за своим столиком. Но он сидел так неподвижно, ссутулившись, глядя в свой замёрзший чай, что его как будто и не было. Он был похож на ещё один предмет из своей коллекции — бронзовую фигурку «Скорбящий антиквар», конец XX века, недорого.

Холод стал отступать. Так же, как пришёл, — медленно, снизу. Лёд в лужах не таял, но перестал расти. Пар изо рта стал реже. Где-то за складами, осторожно, как будто пробуя голос, каркнула ворона.

Я разжала ладонь. Камень лежал на ней — серый, невзрачный, с рыжими веснушками. Тёплый. Он был тёплым всё это время — даже когда весь рынок покрывался льдом, он грел мне ладонь, как печка.

— Мадемуазель.

Я вздрогнула. Копейка смотрел на меня из-за столика. Лицо у него было серое, и глаза больше не бегали. Они стояли

на месте и смотрели на камень у меня в руке. И в них было что-то, что я потом, много позже, научилась узнавать, а тогда не поняла. Тоска. Не страх — тоска. Как у человека, который смотрит на дом, где когда-то жил.

— Положи в карман, — сказал он хрипло. — В левый. Ближе к сердцу. И не показывай никому. Ни на улице, ни в метро. Особенно в метро.

— Почему?

Он не ответил. Взял свой стакан, посмотрел на корочку льда, вздохнул и выплеснул чай на асфальт. Лёд звякнул о землю, как монетка.

— И зеркало домой неси, — сказал он, не глядя на меня. — В простыне. Лицом к себе.

— Мне это уже говорили, — сказала я. — В метро. Женщина в берете.

Копейка поднял голову.

— Какая женщина?

— Не знаю. Пожилая. У неё был кот Барсик. Сибирский. Пятнадцать лет прожил.

Копейка смотрел на меня долго. Потом очень тихо, как будто сам себе, сказал:

— Барсик... Ну, конечно. Уже и Барсика прислали.

И отвернулся. Больше он со мной не разговаривал. Сколько я ни стояла, сколько ни спрашивала, кто прислал, какого Барсика, при чём тут вообще кот, — он сидел ко мне спиной и перекладывал открытки. «С Новым, 1957 годом!» Сверху

вниз. Снизу вверх. Сверху вниз.

Я положила камень в левый карман. Ближе к сердцу. Подняла синий пакет из гипермаркета, в котором стояло моё зеркало — моё, не его, не Копейкино, не профессорское, а моё, — и пошла к выходу.

На выходе с рынка, у ворот, стояла лужа. Большая, широкая, во весь проход. Вся затянута льдом — гладким, тёмным, как стекло. Обойти её было нельзя. Я шагнула на лёд осторожно, как по стеклу.

И посмотрела вниз.

Во льду отражалось небо — серое, ватное, ноябрьское. И я — в зелёной куртке, с пакетом. А за моим отражением, чуть сдвинутым, как плохо отпечатанная открытка, стоял кто-то ещё. Высокий. В чёрном. Он стоял у меня за спиной — во льду — и смотрел мне в затылок.

Я обернулась.

За спиной никого не было. Только ворота, рынок и ворона на заборе.

Я посмотрела вниз.

Во льду была только я.

Я перешла лужу — быстро, не глядя под ноги, — и пошла к трамваю. Камень в левом кармане грел мне бок, как маленький уголёк. И я подумала — это была очень спокойная, очень ясная мысль, такая, какие бывают только в шоке, — что зря я вчера не купила у Клавдии Ивановны салфетку.

Она ведь сказала: «Тебе не по карману».

Теперь я, кажется, начинала понимать, что она имела в виду.

Глава 4. Суп, мама и минералогия

Понедельник, день и вечер

Трамвай номер сорок от Удельной идёт до Петроградской так долго, что за это время можно прочесть «Войну и мир», если читать быстро и пропускать про войну. Я села у окна, поставила синий пакет на колени, обняла его, как обнимают в трамвае маленьких детей и больших собак, и только тогда заметила, что у меня трясутся руки.

Не сильно. Чуть-чуть. Как у человека, который выпил три кофе подряд, а потом ещё и поругался с начальником. Камень в левом кармане грел мне бок. Я то и дело прижимала к нему ладонь через куртку — проверить, на месте ли. Он был на месте. И он был тёплый. Это успокаивало и пугало одновременно, как успокаивает и пугает собака, которая положила тебе голову на колени, если это не твоя собака.

Трамвай дёрнулся, зазвенел, поехал. За окном поплыли гаражи, заборы, потом сталинские дома с колоннами, потом блочные дома без колонн, потом какой-то огромный пустырь, на котором стоял одинокий экскаватор и, кажется, сам не понимал, зачем он здесь. Как я. Мы с экскаватором понимающе посмотрели друг на друга, и трамвай повёз меня дальше.

Я достала телефон. Если не знаешь, что делать, — спроси интернет. Интернет тоже не знает, но он хотя бы отвечает

быстро и уверенно, как таксист, который везёт тебя не туда.
«Свинцово-цинковая руда зеркало», — набрала я.

Интернет вывалил на меня всё, что знал о свинцово-цинковых рудах, а знал он о них, как оказалось, удивительно много, и всё — скучное. Месторождения Урала. Месторождения Забайкалья. Месторождения Казахстана, которые лучше месторождений Урала, по мнению казахстанского сайта, и хуже, по мнению уральского. Обогащение руд флотацией. Галенит. Сфалерит. Статья «Свинец: друг или враг?», написанная, судя по стилю, тем же человеком, который пишет статьи «Кофе: друг или враг?» и «Бабушка: друг или враг?». Объявление: «Продам образцы минералов, коллекция покойного мужа, 600 штук, недорого, самовывоз из Колпино». Фотография коллекции: шестьсот камней в деревянных ящиках, с этикетками, и над ними на стене — портрет мужчины с бородой и с таким выражением лица, будто он категорически против самовывоза.

Про зеркала — ничего. Ни слова про каналы, слои, изнанки, двери, стражей.

Я пролистала вторую страницу. Потом третью. На третьей странице интернет обычно сдаётся и начинает выдавать что попало — рецепты борща, распродажи обуви, статьи о вреде интернета. Но на этот раз на третьей странице я нашла форум. Геологический. Назывался он «Камни и люди», и последнее сообщение на нём было оставлено в 2021 году. Форум выглядел так, как выглядят все форумы, которые пере-

жили своих создателей: серый фон, синие ссылки, смайлики в виде жёлтых колобков, которые все давно забыли, и подпись у каждого пользователя длиной в абзац.

В ветке «Необычные свойства минералов (серьёзно, без эзотерики!)» пользователь Kvarc_Ivanych писал:

«Свинцово-цинковая руда с включениями гематита — редкий природный агрегат. Некоторые источники утверждают, что использовался в старых обрядах как проводник. Информация непроверенная».

Ниже пользователь Geolog_Sveta ответила:

«Иваныч, ну какие обряды. Ты ещё скажи, что малахит от сглаза».

Ниже Kvarc_Ivanych ответил:

«Малахит от сглаза — это доказано. Моя тёща носила малахитовые серьги 30 лет, и ни разу её никто не сглазил. Хотя пытались. Я пытался».

Дальше ветка ушла в обсуждение тещ, и я её закрыла.

«Проводник». Я перечитала это слово три раза. Оно ложилось в голову неуютно, как камешек в ботинок. Проводник — это в поезде, который приносит чай в подстаканнике. Или в физике, через который идёт ток. Или — это я вспомнила уже из фэнтези, которое продают на столах у кассы, — тот, кто ведёт души на тот свет. Ни один из вариантов мне не нравился. Хотя чай в подстаканнике — ещё куда ни шло. Трамвай дёрнулся, зазвенел, и я убрала телефон. За окном проплывали мокрые фасады. Мы уже въехали на

Петроградскую: модерн, эркеры, башенки, арки, дворы-колодцы. Город, который я рисовала полгода. Который любила полгода. Который знала полгода, как мне казалось, наизусть.

Я смотрела на него из окна трамвая и впервые за долгое время видела, что не знаю его совсем.

Каждая арка — это был проход. Куда? Каждое тёмное окно на последнем этаже — кто там? Каждая ниша в стене — что в ней было раньше и что в ней сейчас? Брандмауэр — глухая стена без окон, — и на нём, если присмотреться краем левого глаза, проступают контуры окон. Замурованных. Окон, которые были, а потом их заложили кирпичом. А за ними — комнаты. Которые никто не видит.

Трамвай остановился. Двери открылись. В вагон вошла женщина в берете.

Я замерла. Женщина в берете — не та, другая, помоложе, в бордовом, — села впереди меня и уткнулась в телефон. Никаких котов. Никаких советов про простыни. Обычная женщина в обычном берете, каких в Петербурге в ноябре тысячи, потому что берет — это единственный головной убор, в котором петербурженка может одновременно не замёрзнуть и сохранить достоинство.

Я выдохнула. Ну вот. Теперь я буду бояться беретов. Отличное начало новой жизни.

* * *

Лифт не работал. Это я говорю не потому, что что-то изменилось, а для порядка, как в прогнозе погоды говорят «со-

хранится облачность». Сохранилась.

Я поднялась пешком, считая ступеньки, чтобы не думать. Сто двенадцать. Я и раньше знала, что их сто двенадцать, но раньше я их не считала, а просто знала, как знаешь собственный номер телефона. Сегодня я считала вслух, шёпотом, и на площадке между третьим и четвёртым, напротив лифта, где застрял депутат, сбилась, потому что мне показалось, что в кабине кто-то стоит.

Я посмотрела прямо. В кабине никого не было. Деревянные стенки, медная табличка «Флор, и сын. Москва», пыль на полу.

Я не стала смотреть краем глаза. Не сегодня. Сегодня я и так увидела достаточно.

— Браво! — сказал Гамлет, когда я вошла.

— Спасибо, — сказала я. — Не за что.

— Антракт! — сказал Гамлет.

Я остановилась. Гамлет сидел на своей жёрдочке в кухне, в открытую дверь мне было его видно — серый, с красным хвостом, с лысоватой головой старого интеллигента, — и смотрел на меня одним глазом. Попугаи смотрят одним глазом, потому что у них глаза по бокам головы, я знаю, это не мистика, а анатомия. Но смотрел он на синий пакет. Внимательно. Долго.

— Антракт, — повторил Гамлет тихо, почти задумчиво. И потом сказал свою немецкую фразу. Ту самую, которую Ангелина Карловна отказывается переводить.

Я не знаю немецкого. Я знаю «данке», «битте», «хенде хох» и «их бин ейн Берлин», потому что это последнее говорил Кеннеди и это было у нас в учебнике истории. Но фразу Гамлета я за полгода выучила наизусть, как выучиваешь песню, которую слышишь каждый день, не понимая слов. И вечером того дня, уже после всего, я наконец набрала её в переводчике. Но это было уже вечером.

Я прошла в комнату. Поставила зеркало у стены, на прежнее место. Не стала разворачивать пакет. Сняла куртку. Разулась. Камень вынула из кармана и положила на подоконник — рядом с банкой с кистями, на сложенную вдвое бумажную салфетку, как кладут что-то ценное. Он лежал там, серый и некрасивый, и даже на расстоянии вытянутой руки я чувствовала, что он тёплый. Как будто на подоконнике стоит маленькая невидимая свечка.

Я села на кровать и обхватила колени. Посидела. Подумала. Не думалось.

И тут у меня зазвонил телефон.

* * *

— Алисочка, — сказала мама, — ты обещала позвонить.

— Мам, я обещала позвонить завтра. Завтра — это сегодня. Сейчас только час дня.

— Вот я и звоню, чтобы ты не забыла.

Против этой логики я ничего не могла возразить. Мамина логика неуязвима, как танк: она не обходит препятствия, а едет сквозь них.

— Ну как ты? — спросила мама. — Повесила зеркало?

— Нет, мам. Я... я ездила его возвращать.

— Возвращать? Зачем?

— Оно... — Я посмотрела на синий пакет. — Оно оказалось с трещиной.

— Я же говорила, — сказала мама с глубоким удовлетворением человека, который ничего такого не говорил, но теперь уверен, что говорил. — На рынках продают одно барахло. Надо было в магазин идти. Там хорошие зеркала, и с гарантией. Тамара Петровна купила себе в гипермаркете шкаф, так он у неё пятнадцать лет стоит. И ни одной трещины!

— Этот гипермаркет ушёл из России, мам.

— Ну и правильно, — сказала мама неожиданно. — Шкаф-то у Тамары Петровны кривой. Дверцы не закрываются. Ну так что, вернула?

— Нет. Не взяли.

— Как не взяли? Это же брак! Ты имеешь право! Есть закон о защите прав потребителя! Хочешь, я позвоню?

Я представила себе, как мама звонит Копейке. У Копейки, наверное, даже нет телефона. Но мама найдёт. Мама найдёт кого угодно: она тридцать лет проработала в паспортном столе в Череповце и знает, как находить людей, которые не хотят, чтобы их находили. Я представила себе этот разговор, и мне вдруг стало так смешно, что я чуть не рассказала маме всё. Про трещину. Про отражение, которое опаздывает. Про

бабушку в платке и камень, который тёплый. Про холод на рынке и лёд в лужах. Про высокого в чёрном.

Чуть не рассказала. Но вовремя вспомнила окулиста и психолога с раскрасками.

— Не надо, мам. Я сама разберусь. Оставлю. Рама хорошая.

— Ну смотри. — Мама помолчала. — А трещина большая?

— Через всё зеркало.

— Ой, — сказала мама. — Ой, Алиса. Это плохая примета. Разбитое зеркало — семь лет несчастья. Выбрось ты его.

— Оно не разбитое, мам. Оно треснутое. Это разные вещи.

— А какая разница?

Я задумалась. Действительно — какая?

— Разбитое — это когда на куски, — сказала я. — А треснутое — это когда целое, но... с трещиной.

— Ну так это ещё хуже, — сказала мама. — Это значит, несчастье будет, но не сразу. Растянутое. Как кредит.

И я поняла, что мама, сама того не зная, сформулировала мою жизнь точнее, чем я сама когда-либо могла. Несчастье в рассрочку. Ежемесячный платёж. Без права досрочного погашения.

— Мам, — сказала я, — а вот ты в детстве мне говорила «не выдумывай». Про глаз. Помнишь?

На том конце стало тихо. Так тихо, что я подумала, что

связь прервалась. Потом мама сказала — другим голосом, тихим, осторожным:

— Помню. А что?

— Ничего. Просто вспомнила.

— Алиса, — сказала мама, — у тебя опять? Опять видишь?

Я молчала. Мама молчала. Где-то в Череповце, в квартире на улице Ленина, на кухне, где висят часы-тарелка с петухом и пахнет пирогами по воскресеньям, моя мама сидела, держа трубку, и ждала, что я скажу. А я не знала, что сказать.

— Нет, мам, — сказала я. — Не вижу. Просто вспомнила. Я устала. У меня заказ сложный.

— Алисочка, — сказала мама, и в голосе было что-то, чего я от неё никогда не слышала, — ты, если что, звони. Хоть ночью. Ладно?

— Ладно.

— И кота заведи, — сказала мама уже обычным голосом. — Коты, говорят, всё видят. Он тебе подскажет, если что.

Она отключилась. Я сидела с телефоном в руке и думала: «Опять». Мама сказала «опять». Значит, она помнила. Значит, она тогда, двадцать лет назад, когда вела меня к окулисту и говорила «не выдумывай», — она мне верила. Или боялась поверить.

Это была очень неожиданная мысль. Я отложила её на потом, как откладывают письмо, которое страшно открыть.

* * *

Пупырин написал в два часа.

«Алиса, добрый день!!! Как продвигается Пётр? Директор спрашивает)) У нас тут новая идея: может, Пётр будет не на берегу Невы, а на корабле? И корабль сделан из чипсов? Это было бы очень креативно!!! И ещё: маркетинг просит, чтобы на пачке было видно, что Пётр — молодой. Целевая аудитория 18–25. Можно сделать Петра помоложе? Лет на 25? И чтобы был как будто блогер. Спасибо!!!»

Я прочитала это письмо четыре раза. На четвёртый раз мне показалось, что буквы начинают двоиться. Не в переносном смысле — в прямом. Каждая строчка письма как будто отбрасывала тень, и в тени было написано что-то другое. Я прищурила левый глаз. Тень исчезла. Прищурила правый — тень появилась снова. Теперь уже явно. Под словами «Пётр — молодой» тенью стояло: «Пётр устал».

Я закрыла ноутбук.

— Нет, — сказала я вслух. — Нет. Это слишком. Даже для меня. Второй слой не может проступать в письмах Пупырина. В письмах Пупырина нет никакого второго слоя. В них и первого-то нет.

Я открыла ноутбук. Письмо было обычным. Восклицательные знаки по три, две скобки, «Пётр как будто блогер».

Я начала рисовать Петра-блогера. Это было неплохое занятие для человека, у которого едет крыша: рисовать то, что ещё безумнее, чем твоя жизнь. На фоне Петра-блогера на корабле из чипсов моё зеркало с изнанкой выглядело почти

нормально.

Пётр-блогер у меня получился в треуголке и в худи, с селфи-палкой вместо подзорной трубы. Он улыбался в камеру и показывал «класс». За его спиной строился Петербург. Внизу была подпись: «Всем привет, с вами Пётр, сегодня строим город на болоте, ставьте лайк, если тоже прорубаете окно в Европу». Я посмотрела на это и засмеялась — первый раз за день по-настоящему. Потом подумала, что Пупырин, скорее всего, это утвердит. И перестала смеяться.

* * *

В шесть вечера пришла Вика.

Вика — это моя подруга. Единственная в Петербурге, если не считать Ангелины Карловны, которая считает себя моей подругой по понедельникам, средам и пятницам, а по остальным дням — квартирной хозяйкой. Мы с Викторией учились в одной школе в Череповце, только она на два года старше, и в Петербург она уехала раньше меня, поступила в Академию ветеринарной медицины и теперь работает в клинике на Каменноостровском, лечит котов, собак, хорьков, черепах, попугаев и однажды лечила игуану, которая укусила её за палец и потом неделю смотрела на неё с презрением.

Вика громкая. Это главное, что надо знать о Вике. Она не умеет говорить тихо. Даже когда она шепчет, это слышно в соседней квартире. Ангелина Карловна говорит, что у Вики «голос для открытых площадок» и что, если бы Вика родилась на пятьдесят лет раньше, она объявляла бы на Дворцо-

вой площади парады. Вика отвечает, что на Дворцовой и без неё тесно.

— АЛИСА! — сказала Вика, когда Гамлет крикнул «Браво!», и я поняла, что она пришла. — Я ПРИНЕСЛА СУП!

Вика всегда приносит суп. Это у неё такая форма любви. Она считает, что любую проблему можно решить супом, а если нельзя — значит, суп был неправильный. Суп она варит сама, огромными кастрюлями, по воскресеньям, и потом разносит по знакомым в литровых банках, как Красный Крест.

Она вошла в мою комнату, держа банку обеими руками, в куртке, в шапке с помпоном, покрасневшая с мороза, и остановилась на пороге.

— Ой, — сказала Вика. — А чего у тебя так холодно?

— Отопление, — сказала я. — Утром было отключили.

— Так включили уже. Вон батарея горячая. — Вика поставила банку на стол, на бриф «Хрустящего века», и потрогала батарею. — Горячая! А у тебя тут как в морге. Я в морге была, когда на практике, у нас там была собака, сенбернар, сто два килограмма, его надо было вскрывать... ладно, это неважно. Но у тебя прямо как там.

— Спасибо, Вик.

— Да не за что. — Вика сняла шапку, и волосы у неё встали дыбом от статического электричества. Волосы у Вики рыжие, кудрявые и всегда стоят дыбом, независимо от электричества, но шапка добавляет им энтузиазма. — Ты чего такая

бледная? Ты ела?

— Ела.

— Врёшь. — Вика открутила крышку банки. По комнате поплыл запах — тёплый, густой, с лавровым листом и укропом, и у меня так громко заурчало в животе, что Вика подняла бровь. — Ага. Ела она. Борщ. Со сметаной. Сметану я в отдельной баночке принесла, потому что, если сразу положить, она свернётся, а свернувшаяся сметана — это как свернувшаяся кровь у кошки, ничего хорошего. Где у тебя тарелки? Ага, вот. Одна. Одна тарелка, Алиса! У тебя одна тарелка! Ты живёшь, как монах! Как монах-траппист! Они тоже молчат и едят из одной тарелки!

— Они не едят из одной тарелки.

— Откуда ты знаешь? Ты была у траппистов?

Я не была у траппистов. Вика налила мне борща. Я ела и, кажется, первый раз за двое суток почувствовала себя живым человеком, а не тенью на стене. Борщ у Вики невероятный. Она говорит, что секрет в свёкле, которую надо запекать, а не варить. Ангелина Карловна говорит, что секрет в том, что Вика кладёт туда полкило мяса на литр, и с таким количеством мяса даже суп из гвоздей будет вкусным. Обе правы.

Вика села на кровать, напротив меня, и стала смотреть, как я ем. Это тоже часть её любви. Она смотрит, как ты ешь, как будто ты больная кошка, которая наконец-то начала принимать корм.

— А это что? — спросила она, кивнув на синий пакет у стены.

Я поперхнулась борщом.

— Зеркало.

— Покажи.

— Не надо.

— Почему?

— Оно... некрасивое. С трещиной.

— Ой, да ладно. — Вика встала, подошла и, прежде чем я успела её остановить, — Вику вообще невозможно остановить, это как останавливать рыжий паровоз, — сдёрнула пакет.

Зеркало стояло у стены. Тёмное дерево, позолота, трещина. В нём отражалась Вика — рыжая, кудрявая, в куртке нараспашку, — и я, с ложкой в руке, с открытым ртом.

— Ничего себе, — сказала Вика. — Красивое. Старинное же? Где взяла?

— На Удельной.

— За сколько?

— За тысячу.

— За тысячу?! — Вика повернулась ко мне. — Алиса, ты гений! Это же антиквариат! Его отреставрировать — и за сорок тысяч можно продать! У нас в клинике одна клиентка, хозяйка таксы, у неё антикварный салон на Васильевском, она такое берёт. Хочешь, я ей покажу?

— Нет!

Вика удивилась. Я сама удивилась — слишком громко вышло. Почти по-Викиному.

— Нет, — сказала я тише. — Я сама. Я хочу его... оставить.

— Ну и оставь, — сказала Вика, пожала плечами и повернулась обратно к зеркалу. Наклонилась, разглядывая трещину. — Слушай, а трещина-то интересная. Ровная какая. Как будто нарочно. Её, может, можно...

Она протянула руку к стеклу.

— Вика, не трогай!

Поздно. Викин палец коснулся трещины.

Я замерла с ложкой в руке. Сердце стукнуло раз, другой. Я ждала — не знаю чего. Что Вика отдернет руку. Что вскрикнет. Что из зеркала вылезет высокий в чёрном и утащит её на изнанку. Что Вика покроется инеем.

Вика провела пальцем по трещине вниз, задумчиво, как гладит кошку, и сказала:

— Холодная. Как нос у здоровой собаки.

И убрала руку.

Ничего не произошло. Ничего. Вика посмотрела на палец, вытерла его о джинсы и вернулась на кровать.

— Ты чего такая? — спросила она. — Белая вся. Как будто привидение увидела.

— Нет, — сказала я. — Просто... суп горячий.

— Суп не горячий, он тёплый, я его в метро везла сорок минут. — Вика прищурилась. Вика, при всей своей громко-

сти, очень внимательная. Ветеринар обязан быть внимательным: его пациенты не умеют говорить, где болит, и надо понимать по глазам. — Алиса. Что случилось?

Я посмотрела в зеркало.

В зеркале сидела Вика на кровати. И я за столом. И всё было нормально — Вика была Викой, рыжей и встрёпанной, я была собой, бледной, с ложкой. Только моё отражение — моё, не Викино, — сидело чуть-чуть не так. Чуть ровнее. Чуть внимательнее. И смотрело оно не на Вику, а на меня. Прямо на меня. Через трещину. Как смотрит человек, который хочет сказать: «Ну давай, расскажи ей. Посмотрим, что будет».

— Ничего, — сказала я. — Ничего не случилось. Пупырин хочет, чтобы Пётр Первый был блогером.

Вика смотрела на меня ещё секунду. Потом расхохоталась — громко, на всю квартиру, так, что в коридоре что-то упало (наверное, лыжи), а на кухне Гамлет закричал «Браво! Браво!», как на премьере.

— Блогером! — стонала Вика. — Пётр! Блогером! Покажи! Покажи немедленно!

Я показала. Вика смеялась минут пять. Потом сфотографировала экран на телефон — «Для коллег, они не поверят». Потом рассказала мне про таксу хозяйки антикварного салона, у которой была депрессия, потому что хозяйка завела вторую таксу, и про хорька, который съел резиновую утку и теперь питается при каждом шаге. Потом про своего ново-

го ухажёра, который был анестезиолог и на первом свидании полчаса рассказывал ей про наркоз, а потом сказал: «Вика, вы меня усыпляете», и это был комплимент, но она не поняла. Потом спросила, не надо ли мне денег. Я сказала «не надо». Вика сказала «врѣшь», положила под банку с борщом пятьсот рублей и сделала вид, что не клала.

Она ушла в девять. На пороге обернулась — как Ангелина Карловна, через паузу, — и сказала:

— Алис. Если что — звони. Хотя ночью. Ладно?

Второй раз за день мне это говорили. Второй раз за день человек, который меня любит, говорил: «Хотя ночью». Как будто все вокруг знали что-то про эту ночь, чего не знала я.

— Ладно, — сказала я.

Дверь закрылась. Гамлет крикнул «Антракт!». Валера за стеной начал отбивать на подушке «Депрессию в ре миноре».

И я наконец набрала в переводчике Гамлетову немецкую фразу. Ту самую, которую выучила на слух. Переводчик подумал и выдал:

«Зеркало помнит, кто в него смотрел».

Я сидела и смотрела на экран минуты две. Потом вспомнила: Ангелина Карловна сорок лет работала за кулисами. А Гамлету сорок два года. И у бабушки Ангелины Карловны на Васильевском было почти такое же трюмо.

Попугаи, говорят, живут до восьмидесяти. И повторяют то, что слышат. Чаще всего — то, что говорили люди, которых уже нет.

* * *

Я выключила верхний свет и долго стояла в полумраке.

Комнату освещал только фонарь во дворе — жёлтым, неровным светом, как свечка за стеклом. В чёрном окне отражалась я — силуэт без лица. В зеркале у стены тоже отражалась я — ещё один силуэт, разрезанный трещиной. Камень лежал на подоконнике на салфетке, и мне показалось, что в темноте он чуть-чуть светится. Нет, не светится. Тлеет. Как уголёк, который ещё не погас.

Клавдия Ивановна сказала: «Сегодня ночью сама узнаешь».

Я щёлкнула выключателем. Свет залил комнату. Зеркало блеснуло, трещина на миг вспыхнула, как натянутая нить. Отражение моргнуло от яркого света — вовремя, синхронно со мной. Даже как-то демонстративно вовремя. Как школьник, который знает, что за ним наблюдают.

Я села на пол, по-турецки, напротив зеркала. Камень взяла с подоконника. Положила на ладонь. Он отозвался теплом сильнее, чем днём, — почти горячим. Как будто он ждал. Как будто весь день лежал на подоконнике и ждал, когда я его возьму.

Батарея пощёлкивала. Где-то в соседней квартире играло радио — кажется, «Эхо» какое-то, или «Маяк», или что там сейчас слушают пенсионеры, — тихо, неразборчиво. За стеной Валера отбивал ритм. На кухне Гамлет бормотал по-немецки.

Обычный вечер. Обычный понедельник. Обычная коммуналка на Петроградской.

Внутри у меня пульсировало что-то — не страх, не любопытство. Тяжесть. Как будто воздух в комнате сгустился, потяжелел и ждал, когда я сделаю следующий шаг. Как ждёт зал перед тем, как поднимется занавес. Ангелина Карловна говорит, что это самый страшный момент для артиста — не выход, а секунда перед выходом, когда ты уже стоишь за кулисой и слышишь, как в зале стихает кашель.

У меня в зале стихал кашель.

Я зажала камень в кулак. Он был горячий, как печёная картошка из костра. Подняла руку. Поднесла к зеркалу. Остановилась в сантиметре от стекла. От трещины шёл холод — я чувствовала его костяшками пальцев, как чувствуешь холод от открытой морозилки.

Отражение тоже подняло руку. Тоже сжатую в кулак. Тоже остановилось в сантиметре. И смотрело на меня. Без рожиц, без языка, без закатанных глаз. Серьёзно. Внимательно. Как будто тоже стояло за кулисой.

— Я не знаю, что будет, — сказала я вслух.

Голос дрогнул. Но прозвучал твёрже, чем я ожидала.

— Я тоже, — сказала отражение.

Я не уверена. Может, это было эхо. Может, радио за стеной. Может, мне показалось. Губы у отражения двигались синхронно с моими. Но слова, по-моему, были другие.

И прежде, чем передумать, я прижала кулак с камнем пря-

мо к трещине.

* * *

Первый вдох — ничего.

В отражении — моё лицо, комната за спиной, трещина, разрезающая амальгаму пополам. Мой кулак, прижатый к стеклу, и кулак отражения, прижатый к моему — костяшки к костяшкам, как в детской игре. Всё на месте.

Второй вдох — камень в ладони дрогнул. Не камень — что-то в нём. Как будто внутри него повернулся ключ. И через костяшки пальцев я почувствовала, что трещина отзывается. Мелкой дрожью, едва заметной, но отчётливой. Как будто стекло дышит.

Третий вдох — свет дрогнул.

Не лампочка. Лампочка горела ровно. Изменился сам свет в комнате. Он стал гуще, плотнее, темнее, как будто воздух налился сумерками, как чай наливается заваркой. Жёлтый стал янтарным. Тени стали глубже.

Звук пропал.

Не стих — оборвался. Как будто кто-то выдернул штекер из розетки. Радио за стеной — оборвалось на полуслове. Валерин ритм — оборвался на полудоле. Батарея — замолчала. Гамлет — замолчал. Тишина стала вязкой, плотной, осязаемой, как вата, как вода в бассейне, когда ныряешь с головой.

По руке пошёл холод. Не от стекла — изнутри, от камня. Он шёл по венам вверх, от кулака к запястью, к локтю, к плечу, к шее, — тонкой ледяной нитью, как будто мне ставили

капельницу с талой водой.

Я подняла глаза на отражение. И перестала дышать.

Я видела комнату. Свою комнату. Стол, стул, кровать, подоконник с банкой кистей, банку с Викиным борщом. Всё было на месте. Но одновременно — не моя.

Поверх знакомых очертаний проступили другие линии. Как будто кто-то положил на мою комнату кальку с другим рисунком, — и рисунок этот был сделан тонким пером, коричневыми чернилами, как старинный архитектурный чертёж. За обоями угадывались проёмы. Дверь — там, где у меня стоит кровать, — высокая, двустворчатая, с бронзовой ручкой. За стеной, где Валерина комната, — узкий ход, уходящий в темноту. Над потолком — ещё один потолок, выше, с лепниной другой, богаче. А за окном — за моим окном, где должен быть двор-колодец, мусорные баки и окна соседнего дома, — был не двор. Был коридор. Из стен и арок, уходящий в бесконечность, как в зеркальной комнате смеха, только без смеха. Арка за аркой, арка за аркой. И каждая арка — чуть темнее предыдущей.

Я не двинулась с места. Ноги стояли на полу. Пальцы сжимали камень. Но зрение — оно расходилось. На два слоя. Как будто у меня вдруг стало два зрения, и оба работали одновременно. Обычный Петербург — и то, что лежало под ним. Тайная прослойка. Замурованные арки, подземные каналы, забытые ходы. Всё, что было всегда рядом. Всё, что я видела краем глаза двадцать лет. Только теперь — не краем. Теперь

— прямо.

Я медленно повернула голову. Каждый сантиметр поворота открывал новое.

За шкафом — у меня нет шкафа, но там, где ему следовало бы быть, у правой стены, — лестница. Винтовая, чугунная, уходящая вниз, в пол. В углу комнаты — дверь, которой не было, низкая, с полукруглым верхом, обитая чем-то тёмным. Под ногами, сквозь половицы, — вода. Тёмная, медленная, текущая. Я сидела над каналом. Подо мной, под паркетом, под перекрытиями, под подвалом, под фундаментом дома 1910 года — тёк канал. Узкий, чёрный, с гранитными стенками. По нему плыл лист. Обычный кленовый лист, жёлтый, осенний. Плыл медленно, кружась. И исчез под стеной.

Я подняла глаза к окну.

Внутри у меня что-то оборвалось — тихо, без звука, как обрывается нитка, на которой висела пуговица. Я поняла, что больше никогда не смогу смотреть на этот город как раньше. Никогда. Отражение в любой луже теперь будет шевелиться. Каждая трещина в асфальте — указывать. Каждая арка — вести.

И в этот момент сквозь стену — сквозь окно, сквозь двор-колодец, сквозь все слои — я увидела его.

Во дворе. Внизу. В самом центре двора-колодца, у заросшего палисадника, где летом цветут чахлые бархатцы, которые сажает Ангелина Карловна, а осенью гниют листья, которые никто не убирает.

Высокий тёмный силуэт.

Он стоял среди теней. В длинном пальто. Неподвижно. И смотрел вверх. Прямо на меня.

Не на окно. Не на дом. Не на четвёртый этаж. На меня. Сквозь стены, сквозь стекло, сквозь двенадцать метров воздуха, сквозь два слоя города. Я чувствовала его взгляд, как чувствуешь холод, когда открываешь дверь на балкон зимой. Он не двигался. Не махал рукой, не звал, не угрожал.

Просто ждал.

Я не спускала с него глаз. Не знаю, сколько. Удар сердца, другой, третий. Камень в кулаке, прижатом к стеклу, горел. А холод поднимался по руке выше — за локоть, к плечу, к ключице, к горлу. Становилось трудно дышать. Как будто я дышала не воздухом, а морозом.

«И, если увидишь высокого в чёрном — не открывай дверь».

Я оторвала кулак от стекла.

Звук вернулся — рывком, как будто штекер воткнули обратно. Радио за стеной договорило своё слово. Валера доиграл свою долю. Батарея щёлкнула. Гамлет на кухне договорил свою фразу — последнее немецкое слово, «...hat». Свет стал обычным, жёлтым, шестьдесят ватт.

Я выдохнула. Камень в ладони оставался тёплым. Но холод не ушёл. Он остался в груди — поселился под рёбрами, свернулся там, как кошка, которую не звали.

Я посмотрела на зеркало. Линии проходов и арок всё ещё

проступали сквозь стены — но слабее, бледнее, как будто стирались ластиком. Ещё секунда — и пропали совсем. Обычная комната. Обычная стена. Обычное окно.

Я встала. Подошла к окну. Посмотрела вниз, во двор. Двор-колодец, мусорные баки, палисадник с гнилыми листьями, фонарь.

Он стоял там. Уже без всякого второго слоя. Прямо. По-настоящему. Высокий, в чёрном пальто. Неподвижный. У палисадника, в жёлтом свете фонаря.

И смотрел вверх.

Не открывай дверь, сказала Клавдия Ивановна.

Хорошо, подумала я. Дверь я не открою.

Но про окно и лестницу она ничего не говорила.

Глава 5. Господин Мороз

Ночь с понедельника на вторник

Есть несколько вещей, которые не стоит делать в час ночи. Писать бывшему. Есть торт из холодильника стоя. Читать комментарии под новостями. И спускаться во двор-колодец к высокому незнакомцу в чёрном пальто, который полчаса стоит у палисадника и смотрит в твоё окно.

Я сделала последнее. Признаюсь сразу, чтобы потом не было вопросов. Потом, когда я рассказывала эту историю Вике, Вика сказала: «Ты дура». Ангелина Карловна сказала: «Вы, детка, вышли без грима». Копейка, когда узнал, сказал: «Ой, дура». А Клавдия Ивановна ничего не сказала, только посмотрела на меня так, что стало ясно: она бы сказала то же самое, только короче.

Но в тот момент у меня была логика. Железная. Выстраданная.

Клавдия Ивановна велела не открывать дверь. Какую дверь? Очевидно, ту, которая в зеркале. Ту, которую открывает камень. Ту, в которую я только что заглянула. А дверь квартиры — это не та дверь. Дверь квартиры — это просто дверь. С замком на два с половиной оборота и подвыванием. Через неё ходят Валера за кефиром и Гоша за бананами для Громыко. Если бы Клавдия Ивановна имела в виду дверь квартиры, она бы так и сказала: «Не выходи из квартиры».

Она говорит рублено и точно, как сводка погоды. Сводка погоды не говорит «возможны осадки», если имеет в виду «будет ураган».

Вот такая у меня была логика. Я потом много думала над ней и поняла, что это логика человека, который очень хочет сделать глупость и ищет, как бы сделать её по правилам.

Я натянула куртку прямо на свитер с оленями. Сунула ноги в кеды — не в ботинки, в кеды, белые, летние, потому что ботинки стояли в коридоре, а кеды — у двери комнаты, и мне некогда было выбирать. Камень сжала в кулаке. И тихо, на цыпочках, вышла в коридор.

В коридоре было темно. Розалия шелестела. Бюст Чайковского в шляпе смотрел с осуждением — он всегда смотрит с осуждением, но в темноте это было особенно заметно. Из-за Валериной двери доносилось ровное посапывание. Из-за Гошиной — шорох: Громыко и остальные министры иностранных дел вели ночную жизнь. На кухне, под платком, Гамлет спал.

Я прошла мимо кухни на цыпочках. Дошла до входной двери. Взялась за ключ. Два с половиной оборота. Последние пол-оборота — с подвыванием.

Я не стала подвывать. Я провернула ключ молча, сжав зубы, и замок, лишённый привычного аккомпанемента, отомстил мне: щёлкнул так громко, что, по-моему, проснулся депутат в лифте, который давно уже был не в лифте.

— Антракт? — спросил из-под платка сонный Гамлет.

— Антракт, — прошептала я. — Спи.

Гамлет не ответил. Я выскользнула на лестницу.

* * *

Лестница ночью — это совсем не то, что лестница днём. Днём это просто лестница, широкая, с остатками мрамора и надписью «Сломанный трамвай — лучшая группа» на третьем этаже, которую написал Валера и за которую его оштрафовало ТСЖ. А ночью это колодец. Тёмный, гулкий, с одной лампочкой на втором этаже, которая мигает, как в фильме ужасов, где героиня спускается в подвал, а зрители кричат ей: «Не ходи туда, дура!»

Я спускалась быстро, держась за перила. Кеды шлёпали по ступенькам: шлёп, шлёп, шлёп. Сто двенадцать шлёпав. На площадке между третьим и четвёртым я не стала смотреть на лифт. На втором этаже лампочка мигнула и погасла, и последние два пролёта я спускалась в полной темноте, на ощупь, считая ступеньки, как в детстве считала секунды от молнии до грома. Камень в кулаке был горячий, как уголёк. Это было единственное тепло во всём подъезде.

Дверь во двор была железная, тяжёлая, с кодовым замком, код от которого знали все, включая курьеров, бомжей и голубей. Я толкнула её плечом и вышла.

Двор-колодец ночью выглядит так, будто ты оказалась на дне глубокого стакана. Вверху — квадрат неба, чёрно-рыжий от городской засветки. Вокруг — стены, жёлтые, облупленные, со слепыми окнами, все до единого — тёмные. Фонарь

над подъездом — один, и светит он так, будто ему неловко. Мусорные баки. Палисадник за низкой чугунной оградкой. Глухая стена в глубине двора, брандмауэр, с которой слоями осыпается штукатурка, обнажая кирпич, как старая картина обнажает предыдущий слой краски.

И он.

Он стоял там, где я его видела. В центре двора, у палисадника, на фоне глухой стены. Не сдвинулся ни на шаг.

* * *

Я его наконец разглядела. Лучше бы не разглядывала, честно. Есть люди, которых лучше видеть издалека. Он был из таких.

Высокий. Очень высокий — выше любого человека, которого я знала, кроме нашего школьного физрука, двухметрового бывшего волейболиста. Худой. В длинном чёрном пальто — старомодном, двубортном, с широкими лацканами и с поднятым воротником. Пальто было, как бы это сказать... не новое и не старое. Вне времени. Такие носили в старых фильмах про шпионов и в старых фотографиях из семейного альбома, на которых все серьёзные и никто не улыбается. Под пальто — тёмный костюм. Белая рубашка. Узкий галстук. Шляпы не было.

Лицо — бледное. Не просто бледное, а белое, как бумага, как гипс, как бюст Чайковского до того, как на него надели шляпу. Свет фонаря ложился на это лицо резко, неестественно, будто кто-то нарочно выставил светотень, как ста-

вят свет на портретной съёмке. Скулы. Тонкий нос. Тонкие губы. Волосы — светлые, с едва заметной рыжиной, будто присыпанные инеем, зачёсанные назад, — ровно, гладко, волосок к волоску, как на старых фотографиях, где все мужчины причёсаны так, будто у них на голове не волосы, а лакированное дерево.

А глаза...

Глаза были голубые. Ледяного голубого цвета — такого чистого, такого яркого, что на них было больно смотреть. Как на солнце, отражённое в снегу. Как на небо над Невой в крещенский мороз, когда минус тридцать и всё звенит.

И от него шёл холод.

Я чувствовала его кожей, ещё не дойдя до палисадника. Холод тёк от него, как свет от лампы, — во все стороны, ровно, спокойно. Листья у его ног покрылись инеем. Чугунная оградка палисадника заиндевели. Лужа у мусорного бака затянулась льдом — я слышала, как она хрустнула. Пар изо рта у меня пошёл густой, белый.

А у него пара не было. Совсем. Он не дышал. Или дышал, но его дыхание было таким же холодным, как воздух вокруг, и поэтому не превращалось в пар.

Он не удивился, что я пришла. Совсем. Ни тени удивления. Как будто мы договаривались. Как будто он назначил мне встречу на час ночи у палисадника, и я пришла вовремя, и он это ценит.

Я остановилась шагах в пяти от него. Ближе подойти не

могла — холод не пускал. Как стена.

Мы смотрели друг на друга.

— Доброй ночи, — сказал он.

Голос был ровный. Спокойный. Негромкий. И какой-то... старомодный. Не в смысле старческий — нет, голос был молодой, лет тридцати пяти, может, сорока. Старомодный в смысле интонации. Так говорили дикторы в старых кинохрониках. Так говорят в фильмах по Чехову. Каждое слово отдельно, чисто, без проглатывания окончаний, без «щас» и «чё». Так, как будто слова — это вещи, хрупкие, дорогие, и их надо ставить на полку аккуратно, чтобы не разбить.

— Доброй, — сказала я. Голос у меня вышел хриплый.

— Отдайте камень.

Он сказал это так же ровно. Без нажима. Без угрозы. Без просьбы. Констатация факта. Как говорят «сегодня вторник» или «вода кипит при ста градусах». Отдайте камень. Всё.

Я сжала кулак в кармане. Камень отозвался теплом — сильно, почти больно, как будто испугался.

— Зачем? — спросила я.

Он чуть наклонил голову. На миллиметр. Как наклоняет голову учитель, услышав неожиданно глупый вопрос от ученицы, на которую он возлагал надежды.

— Затем, — сказал он, — что вы не понимаете, что открыли.

Он смотрел на меня. Не на лицо — в глаза. Сначала в пра-

вый, потом в левый. В левый — дольше. Как Клавдия Ивановна. Только у Клавдии Ивановны взгляд был тяжёлый, испытующий, а у него — пустой. Нет, не пустой. Прозрачный. Как лёд, через который видно дно.

— Девица с испорченным глазом, — сказал он, — полагает, что нашла ключ к тайне. А на деле впустила то, что должно оставаться закрытым.

— Сами вы испорченный, — сказала я. Не знаю, откуда это взялось. Наверное, из девятого класса. Из того самого дня за гаражами. Есть вещи, которые в тебе не умирают, даже когда тебе двадцать семь, и ты стоишь ночью во дворе в летних кедах перед неизвестно кем.

Он не обиделся. Мне кажется, он вообще не умел обижаться. Он просто помолчал секунду — как будто записал мои слова в какую-то тетрадь — и продолжил тем же ровным голосом:

— Вы одна.

Я молчала.

— Денег у вас нет. Работа не идёт. Комната съёмная, за ноябрь не плачено. Матушка ваша живёт в Череповце и звонит вам дважды на дню, чтобы спросить, ели ли вы. Вы отвечаете, что ели. Вы лжёте. Подруга приносит вам суп в банке и оставляет деньги под банкой, делая вид, что не оставляет. Вы делаете вид, что не замечаете. Вам двадцать семь лет. Вы рисуете ежей для детских книжек и царя для пакетов с жареным картофелем. Вы никто в этом городе.

Каждое слово падало тяжело. Как камни в воду. Бульк. Бульк. Бульк. Без злости. Без насмешки. Он не издевался — это было хуже всего. Он просто перечислял. Как перечисляют пункты в описи имущества при выселении.

И каждое слово попадало в точку.

В те места, которые я прятала даже от себя. Одиночество. Долги. Утренний стыд — тот самый, когда ты просыпаешься в восемь утра в пустой комнате и не знаешь, зачем вставать, и лежишь до одиннадцати, глядя в потолок, и тебе стыдно, что ты лежишь, и от стыда ты лежишь ещё дольше. Мамин голос: «Ты ешь?» Викин голос: «Врёшь». Пупырин с тремя восклицательными знаками. Пётр, который не хочет быть вкусным. Стены, которые смотрят на новую учительницу в девятом «Б».

Я знала эти слова наизусть. Они были написаны у меня под кожей. Мелким почерком. Как на ценнике: «Отдано. Отдано. Отдано».

— И вы полагаете, — продолжал он, всё так же ровно, — что справитесь с тем, с чем не справлялись те, кто жил до вас? Люди сильнее вас. Умнее вас. Старше вас. Люди, которые знали, что делают. — Он помолчал. — Многие из них сейчас там. — Он чуть повёл подбородком в сторону глухой стены. — За стеклом. Отдайте камень. Я запру врата. Вы вернётесь к своей жизни. К своим рисункам. К своей тихой пустой комнате. И забудете, что это было. Я обещаю. Вы забудете всё. Даже меня.

Он протянул руку. Ладонью вверх. Рука была белая, длинная, с тонкими пальцами — рука пианиста или хирурга. Без перчатки. На мизинце — ничего, ни кольца, ни перстня. На ладони — иней. Тонкий, белый, как сахарная пудра.

— Пожалуйста, — сказал он.

И это «пожалуйста» было страшнее всего остального. Потому что оно было вежливым. Искренне вежливым. Так просят передать соль за столом. Так просят пропустить в дверях. Так, наверное, просили когда-то в очереди за хлебом: «Пожалуйста, не толкайтесь».

* * *

Я смотрела на его руку.

В голове билось: отдай. Отдай, и всё закончится. Он прав. Он во всём прав. Ты никто. У тебя нет ни денег, ни сил, ни права лезть в то, что явно больше тебя. Ты художник по ежам. Ты даже Петра Первого не можешь сделать вкусным. Какие врата? Какая изнанка? Иди домой. Ложись спать. Утром проснёшься — и не будет ни зеркала с трещиной, ни бабушки в платке, ни камня, ни холода. Будет Пупырин. Будет мама. Будет борщ от Вики. Будет нормальная, скучная, пустая, тихая жизнь. Это же хорошо. Это же, в общем, то, чего хотят все нормальные люди.

Отдай.

Я почти вынула руку из кармана.

Но камень в кулаке пульсировал теплом. Тук. Тук. Тук. Как маленькое сердце. И вместе с этим теплом в груди про-

сыпалось что-то другое. Не храбрость — нет, храбрости у меня не было ни капли, я стояла и тряслась, как осиновый лист, и зубы у меня стучали так, что, наверное, было слышно на пятом этаже.

Упрямство.

То самое, что заставляло меня дорисовывать заказы в три ночи, когда заказчик уже трижды поменял техническое задание. То, что держало меня на плаву, когда все — мама, тётя Галя, учительница рисования, школьный психолог, соседи по подъезду в Череповце — говорили, что рисованием не прокормишься. То, что посадило меня в поезд Череповец — Петербург с одним чемоданом и папкой рисунков. То, что заставило меня в шесть утра тащить проклятое трюмо на Удельную, а не накрыть его пледом и забыть.

Череповецкое упрямство. У нас там, знаете, металлургический комбинат. Мы — люди из стали. Ну, или из чугуна. Ну, хотя бы из шлака. Но упрямые.

Я сжала кулак так, что ногти впились в ладонь. Боль прошла по руке, отрезвляя, как пощёчина.

— Нет, — сказала я.

* * *

Тишина повисла, между нами.

Он не шевельнулся. Рука его так и осталась протянутой, ладонью вверх, с инеем. Но свет фонаря на его лице изменился. Тень легла глубже. Острее. Скулы стали резче, глаза — ярче, холоднее. Как будто кто-то повернул ручку и при-

бавил контраст.

— Нет? — переспросил он. Тихо. С каким-то... удивлением? Нет. С интересом. С таким интересом смотрит энтомолог Гоша на нового таракана, который ведёт себя не так, как написано в справочнике.

— Нет, — повторила я. — Не отдам. Я... я выбрала правду. Мне сказали — вещь или правда. Я выбрала правду. Это — правда. — Я сжала камень. — Значит, она моя.

— Вам сказали, — повторил он медленно. — Клавдия.

Это было не вопрос. Он произнёс её имя так, как будто это было не имя, а название болезни. Или погоды. Или давней, очень давней ссоры.

— Не знаю, как её зовут, — сказала я честно. — Бабушка с салфетками.

Что-то мелькнуло у него в лице. Быстро, на долю секунды. Если бы это был не он, а нормальный человек, я бы сказала, что он чуть не улыбнулся. Но он не улыбнулся. Он опустил руку.

— Бабушка с салфетками, — повторил он, как будто пробовав эти слова на вкус. — Сорок лет. Сорок лет она держит эти ворота и так и не научилась выбирать. — Он помолчал. — Вы — её последний выбор. Самый глупый.

— Спасибо.

— Это не комплимент.

— Я поняла, — сказала я. — У меня есть заказчик, Пупырин. Он мне тоже пишет «спасибо» с тремя восклицатель-

ными знаками. Это тоже не комплимент.

Он посмотрел на меня долго. Мне показалось, что он не понял ни слова про Пупырина. Или понял, но не одобрил. Или не знал, что такое восклицательный знак, — нет, это вряд ли, человек в таком пальто должен знать знаки препинания.

— Тогда, — сказал он, — я запру сам.

И сделал шаг.

* * *

Один шаг. Медленный. Спокойный. Шаг человека, который никуда не торопится, потому что у него впереди вечность.

Иней под его ботинком хрустнул.

И в руке у него — откуда-то из складок пальто, из рукава, из воздуха, я не увидела откуда — появился осколок. Зеркальный. Острый. Длинный, как нож, узкий, неровный по краям. Он ловил свет фонаря и дробил его на холодные искры — белые, голубые, сиреневые, — и искры эти разлетались по двору, как снежинки, и гасли на стенах.

Я попятилась.

— Не бойтесь, — сказал он. — Это не для вас.

И я увидела, куда он смотрит.

Не на меня. Мимо меня. Вверх. На стену дома. На четвёртый этаж. На моё окно — тёмное, потому что я выключила свет, когда уходила. Нет, не на окно. Сквозь окно. На то, что стояло за окном, в комнате, у стены. На трюмо.

Он видел его. Сквозь стену. Сквозь кирпич, сквозь штукатурку, сквозь двенадцать метров. Он знал, где оно стоит. И он поднял руку с осколком и направил его туда — не замахнулся, а именно направил, как направляют указку на карту, как направляют ключ в замочную скважину, — и осколок зажегся ярче, а стена дома под моим окном вдруг начала... меняться. Штукатурка — светлеть. Кирпич — становиться прозрачным, как стекло. Как калька. Как второй слой.

Я поняла, что сейчас будет. Не знаю как — поняла. Как понимаешь во сне. Он сейчас дотянется осколком сквозь стену до моего трюмо. Коснётся трещины. И трещина закроется. Не затянется — запечатается. Навсегда. Как запечатывают письма сургучом. Как замуровывают окна в брандмауэрах. И изнанка, которую я только что видела, — арки, ходы, каналы с кленовым листом — всё это закроется. А с ней — то, что я видела двадцать лет краем глаза. Второй слой. Он уйдёт. Навсегда. И я стану нормальной. Как все.

Это было то, чего я хотела всю жизнь. Быть нормальной. Не выдумывать.

Я кинулась вперёд.

* * *

Я не успела подумать. Честное слово. Если бы я успела подумать, я бы, наверное, не кинулась. Я бы постояла, взвесила все за и против, составила бы список, как учили на курсах тайм-менеджмента, на которые меня однажды затащила Вика. В левой колонке — «за»: «нормальная жизнь», «ни-

какого холода», «никаких высоких в чёрном», «мама будет довольна». В правой — «против»: «...». И пока я писала бы правую колонку, всё бы закончилось.

Но тело сработало быстрее головы.

Пять шагов через холод — это как пять шагов по дну ледяного озера. Воздух был густой, как кисель, и обжигал лёгкие. Кеды скользили по инею. Я поскользнулась на втором шаге, чуть не упала, выровнялась. На третьем шаге у меня онемели уши. На четвёртом — пальцы на ногах. На пятом я вскинула руку — правую, с зажатым камнем, — и ударила кулаком.

Прямо по осколку.

Звон пошёл не от удара. От столкновения. Камень встретился со стеклом, и звук вышел высоким, чистым, пронзительным — будто лопнула струна. Самая тонкая, самая высокая струна на скрипке. Будто кто-то провёл мокрым пальцем по краю хрустального бокала и не остановился, а давил, давил, пока бокал не запел так, что зазвенели стёкла во всех окнах двора.

Они и зазвенели. Все. Я слышала. Все окна двора-колодца — пятьдесят, сто окон — откликнулись на этот звук тонким дребезжанием.

Осколок в его руке рассыпался.

Не разбился — рассыпался. На мелкие-мелкие искры, на пыль, на снежную крупу, на холодный свет. Брызнул во все стороны — мне в лицо, на куртку, на волосы, — и я зажму-

рилась, ожидая боли. Боли не было. Искры гасли, касаясь меня, как снежинки на тёплой ладони. Только холод. Мгновенный, колючий, по всему лицу.

Он отшатнулся. Выронил остатки осколка — то, что от него осталось, — тонкую рукоять из льда, которая упала на асфальт и раскололась с хрупким звуком, как сосулька.

И на миг замер.

Я открыла глаза и увидела его лицо. Высокий, бледный, с застывшим выражением... удивления. Да. Это было удивление. Настоящее, человеческое, почти детское удивление. Брови чуть приподнялись. Губы чуть приоткрылись. Ледяные глаза смотрели на меня — не сквозь меня, не мимо меня, а на меня. Как будто впервые увидели.

И ещё что-то было в этом лице. Я не сразу поняла что. Потом, позже, через много дней, когда я узнала, кто он такой, — я поняла. Это было облегчение. Совсем крошечное. Как у человека, который очень долго нёс что-то тяжёлое и вдруг почувствовал, что кто-то подставил плечо.

— Вот как, — сказал он тихо.

А потом начал таять.

Не исчезать — именно таять. Как иней на солнце. Как узор на оконном стекле, когда на него дышишь. Черты лица расплывались — скулы, нос, губы, — контуры теряли резкость, как на фотографии, которую слишком долго держали на свету. Пальто стало дымом. Руки — туманом. Глаза держались дольше всего — две голубые точки в белом облаке,

— смотрели на меня, смотрели... и погасли.

И через секунду на месте человека в чёрном пальто осталась только туман.

Ледяной. Густой. Тяжёлый. Белый, как молоко. Он медленно расползлся по двору — низко, по земле, как дым от сухого льда на концерте «Сломанного трамвая», когда Валера однажды раздобыл генератор дыма и они так надымили в клубе, что вызвали пожарных. Туман оседал на стенах — инеем. На асфальте — изморосью. На пожухлой листве в палисаднике — белыми кружевами, тонкими, как Клавдиины салфетки. На мусорных баках. На оградке. На мне.

* * *

Я стояла посреди двора, тяжело дыша.

Кулак саднило. Я разжала его и посмотрела. Кожа на костяшках была содрана, и сквозь неё проступала кровь — тёмная, почти чёрная в свете фонаря, — смешанная с мелкими блестящими крошками стекла. Будто я ударила по разбитой витрине. Будто я подралась с зеркалом. Ну, собственно, так оно и было.

Камень лежал на ладони, серый, некрасивый, с рыжими веснушками. Целый. Ни царапины. И он пульсировал теплом — ровно, спокойно, как сердце после бега, когда оно уже успокаивается. Тук... тук... тук... Будто успокаивал меня. Будто говорил: «Всё. Всё. Ты молодец. Ты дура, но молодец».

Туман оседал. Холод отступал — так же, как на рынке: медленно, снизу вверх, сначала отпустил колени, потом пле-

чи, потом уши. Пар изо рта стал тоньше. Где-то на крыше — я услышала — осторожно, пробуя голос, каркнула ворона.

Я огляделась. Двор был пуст. Ни силуэтов, ни теней. Ни высокого в чёрном. Только я, мусорные баки, фонарь, палисадник в инее — и тишина. Которая теперь казалась не пустой, а... наполненной. Как тишина в зале после того, как опустился занавес, и все ещё сидят, и не хлопают, потому что не знают, конец это или нет.

И тогда я увидела это.

На том месте, где только что стоял он, на влажном асфальте, припорошенном инеем, — первым снегом этой зимы, если уж на то пошло, — что-то лежало. Маленькое. Блестящее.

Я опустилась на корточки. Колени не гнулись — замёрзли, — и я опустилась с хрустом, как старушка.

Это была льдинка.

Не осколок, нет. Не тот зеркальный нож, который он держал, — тот рассыпался в пыль. Другое. Маленький кусочек льда, размером с мой мизинец, прозрачный, чистый, с ровными, будто отшлифованными краями. Похожий на леденец. На кристалл. На слезу, если бы слёзы замерзали и становились правильной формы. Внутри него, если присмотреться, было что-то... какой-то узор. Тонкий, ветвистый, как молния. Или как трещина в моём зеркале. Или как шрам на моей радужке.

Он тускло поблёскивал в свете фонаря. И от него не шло холода.

Я протянула руку. Пальцы дрожали. Я подумала, что сейчас она обожжёт меня, как обжигает лёд, если долго держать его в руке. Или растает. Или исчезнет, как исчез он.

Я взяла её.

Она была тёплой. Как камень. Как моя собственная кожа. Лёд — тёплый. Не тающий, не мокрый, а сухой и тёплый, как стеклянный шарик, который долго держишь в кармане.

Я выпрямилась, держа льдинку в одной руке, а камень — в другой. Двор был пуст. Тишина. Иней на палисаднике.

Он ушёл. Но я знала — откуда-то знала, так же как знала, что он придёт, — что не навсегда. Я его только отогнала. Как отгоняют кота от сметаны. Он вернётся.

Я подняла глаза к окну своей комнаты. На четвёртом этаже, тёмное окно. За стеклом, у стены, стояло зеркало. И я вдруг поняла: у меня теперь два ключа. Один дала бабушка с салфетками. Другой — оставил он.

* * *

— Алиса! Детка!

Голос раздался сверху. Хорошо поставленный, хорошо слышный в последних рядах любого зала. Я задрала голову.

На третьем этаже — нет, на четвёртом, — распахнулась форточка. Кухонная. В форточке, в свете кухонной лампы, показалась голова Ангелины Карловны. В тюрбане из полотенца. С очками на цепочке.

— Детка, — сказала Ангелина Карловна громким шёпотом, который, по-моему, слышали на Каменноостровском,

— что вы делаете во дворе в час ночи в летних кедах?

— Я... — Я спрятала руки за спину. — Я гуляю.

— Гуляете, — повторила Ангелина Карловна с той интонацией, с которой она, наверное, повторяла названия номеров, которые ей не нравились: «Акробатический этюд „Весна“». — А с кем это вы гуляете, позвольте узнать? Я видела в окно мужчину. Высокого. Интересного. В пальто.

— Это... знакомый.

— Знакомый, — повторила Ангелина Карловна ещё выразительнее. — В час ночи. Во дворе. У палисадника. И что же этот знакомый так быстро ушёл? Я только очки надела.

— Он... торопился.

Ангелина Карловна помолчала. Я видела, как в форточке блеснули её очки. Потом она сказала — уже другим голосом, без сцены:

— Алиса. Поднимайтесь немедленно. Вы простудитесь. А у меня, кстати, есть коньяк. Армянский. Для медицинских целей. Мой первый муж был трубач, у него всегда был коньяк для медицинских целей, и он, знаете, ни разу не болел. Правда, умер от печени. Но не болел.

— Иду, — сказала я.

— И, детка. — Ангелина Карловна высунулась из форточки ещё чуть-чуть, рискуя тюрбаном. — Этот ваш знакомый. В пальто. Вы ему скажите в следующий раз, что в нашем дворе приличные люди приходят с цветами. А не стоят под окном, как мой третий муж, который был тромбонист.

— У вас было три мужа?

— Четыре, — сказала Ангелина Карловна с достоинством. — Но четвёртый не считается. Он был конференсье. — И захлопнула форточку.

Где-то в глубине квартиры, на кухне, проснувшийся Гамлет хрипло и одобрительно сказал:

— Браво!

* * *

Коньяк у Ангелины Карловны оказался действительно армянский, действительно старый и действительно для медицинских целей. Мы выпили по рюмке на кухне, под платком у Гамлета, который больше не спал, а сидел на жёрдочке и смотрел на меня одним глазом. Ангелина Карловна намазала мне костяшки зелёной — «у меня всё от всего есть, детка, я сорок лет на гастролях, там и не такое бывает» — и забинтовала так, будто я была раненым бойцом из фильма про войну. Про стекло в ране она ничего не спросила. Посмотрела, вынула пинцетом две крошки, бросила в пепельницу, где они звякнули, и ничего не спросила. Только сказала:

— Детка. Я сорок лет за кулисами. Я видела людей, которые выходили на сцену после того, как у них дома кто-то умер. Я видела людей, которые выходили на сцену пьяные. Влюблённые. Беременные. С температурой сорок. Я видела, как выходят на сцену люди, у которых что-то случилось. — Она завязала бинт аккуратным бантиком. — У вас что-то случилось.

— Ничего не случилось.

— Конечно, — сказала Ангелина Карловна. — Ничего не случилось. Так все говорят. А потом выходят и поют так, что зал плачет. — Она помолчала. — Мой совет, детка. Бесплатный. Деньги вперёд не надо.

Гамлет на жёрдочке заинтересованно повернул голову.

— Когда не знаешь, что делать, — сказала Ангелина Карловна, — держи паузу. Не суетись. Пауза — это самое сильное, что есть у артиста. Публика всё равно дождётся. А тот, кто суетится, — проигрывает.

Я кивнула. Она налила ещё по рюмке. Мы выпили. Коньяк обжёг горло и разлился теплом по груди, туда, под рёбра, где свернулся холод. Холод не ушёл. Но стал меньше. Как кот, который отодвинулся, чтобы дать место.

Когда я вернулась в комнату, было почти три.

Я положила камень и льдинку рядом на подоконник, на ту же салфетку. Они лежали рядом — серый некрасивый камень и прозрачная тёплая льдинка, — как два маленьких зверька, свернувшихся вместе. От них шло тепло. Ровное, спокойное.

Я посмотрела на зеркало. Оно стояло у стены, тёмное, с трещиной. В нём отражалась я — в свитере с оленями, с забинтованной рукой, с размазанной по щеке зелёнкой, которую я не заметила. Растрёпанная. Бледная. Пахнущая армянским коньяком.

Отражение посмотрело на меня. Посмотрело на мою за-

бинтованную руку. Потом снова на меня.

И — я клянусь, я видела, я была трезвая, ну почти трезвая, две рюмки — оно медленно, уважительно подняло большой палец вверх.

С опозданием на полсекунды.

Я легла спать в куртке. Мне снился снег.

Глава 6. Министр иностранных дел

Вторник

Утром я проснулась от того, что кто-то тихо скрёбся в дверь.

Это было не похоже ни на кого из жильцов. Ангелина Карловна не скребётся — она стучит, три раза, как в театре перед поднятием занавеса. Валера не скребётся — он бьёт в дверь ладонью в ритме того, что сейчас репетирует, и по ритму можно понять его настроение. Вика не скребётся — Вика вообще не нуждается в дверях, её слышно сквозь стены. Гамлет не умеет открывать двери. Хотя я не уверена.

— Алиса, — сказал из-за двери тихий, интеллигентный, извиняющийся голос. — Простите, пожалуйста. Вы не спите? Простите. Я не хотел. Простите.

Это был Гоша. Гоша извиняется так часто, что Ангелина Карловна однажды подсчитала: в среднем он произносит слово «простите» сорок раз в день. Однажды он извинился перед дверью, в которую врезался. Однажды — перед тараканом, на которого чуть не наступил. Таракан, надо сказать, его не простил: зашипел.

Я открыла дверь. Гоша стоял в коридоре — длинный, тощий, в очках, в вытянутом свитере с надписью «Энтомологическое общество им. Холодковского» и в тапочках с помпонами. В руках у него был фонарик. Лицо было несчастное,

как у человека, потерявшего самое дорогое.

— Простите, — сказал Гоша. — Вы не видели Громыко?

— Громыко?

— Он сбежал. — Гоша поправил очки дрожащим пальцем. — Ночью. Я проснулся, а крышка аквариума сдвинута. Совсем чуть-чуть. Вот настолько. — Он показал пальцами щель в сантиметр. — Остальные на месте. Молотов на месте, Шеварднадзе на месте, Чичерин на месте, Козырев спит. А Громыко нет. Он никогда раньше не сбежал. Ему девять лет. Он очень пожилой. Для таракана он практически Громыко.

Я хотела сказать, что Громыко и так Громыко, но Гоша был в таком горе, что шутить было бы жестоко.

— Не видела, — сказала я. — Но, если увижу — скажу.

— Спасибо. Простите. Он не опасный. Он шипит, но это от застенчивости. — Гоша посмотрел мимо меня в комнату, на мою забинтованную руку, на зелёнку на щеке, на куртку, в которой я спала, — и, как истинный интеллигент, сделал вид, что ничего не заметил. — Простите. Если он заползёт к вам, он, скорее всего, будет искать тепло. Они любят тепло. Он может залезть, например, в батарею. Или в ботинок. Или в... — Он замялся. — В общем, в тёплое.

— Хорошо, Гоша. Я посмотрю в тёплом.

Гоша ушёл, светя фонариком под сундук, под велосипед и под Розалию. Под Розалией, как я слышала, он нашёл чей-то носок, тридцать рублей и пробку от шампанского, которую, по преданию, в 1980 году выстрелил кто-то из гостей

Ангелины Карловны по случаю Олимпиады. Громыко там не было.

Я закрыла дверь и посмотрела на подоконник.

Камень лежал на салфетке. Серый, тёплый. Рядом — льдинка. Прозрачная, с ветвистым узором внутри. Тоже тёплая. Они лежали там, где я их положила, не сдвинулись ни на миллиметр, и почему-то от этого мне стало спокойнее. Как будто я боялась, что за ночь они исчезнут, как исчезают сны, и я проснусь и подумаю, что всё это мне приснилось — двор, туман, высокий в пальто. Но рука была в зелёнке. А зелёнка — штука честная. Она не снится. Она отмывается неделю.

Я подумала: в тёплом. Громыко ищет тёплое.

И посмотрела на камень.

Нет. Не может быть. Это было бы слишком. Таракан не может знать про камень.

Но таракан, сказала мне та часть мозга, которая отвечает за ночные страхи, жил девять лет в квартире, в которой стоит теперь зеркало с изнанкой. И сбежал он ровно в ту ночь, когда я впервые прижала камень к трещине.

Я покачала головой и пошла в ванную.

* * *

Очередь в ванную в нашей квартире — это отдельный жанр, как японский театр кабуки. У него свои правила, свои маски и свои трагедии. Ванная одна на четверых. В ней есть ванна на львиных лапах, которой сто лет, газовая колонка, которой пятьдесят, и зеркало над раковиной, маленькое,

круглое, общее, в котором по утрам отражаются все жильцы по очереди, как в калейдоскопе.

Первая по утрам — всегда Ангелина Карловна. С семи до семи тридцати. Это святое. Она называет это «грим». Никто не знает, что она там делает полчаса, но выходит она оттуда в полном боевом раскрасе, будто через пять минут выход на сцену. Даже если идёт в «Пятёрочку».

Второй — Валера. С семи тридцати до семи сорока. Валера моется быстро, как солдат, и поёт в душе. Поёт он свои песни. «Депрессия в ре миноре» в исполнении голого Валеры под душем — это, должна сказать, совершенно новый жанр. Гамлет каждый раз кричит «Браво!», и Валера каждый раз принимает это за чистую монету.

Третий — Гоша. Но сегодня Гоша искал Громыко, и его место было свободно.

Я вошла. Включила свет. И посмотрела в круглое зеркало над раковиной.

И отражение посмотрело на меня. Вовремя. Синхронно. Обычное отражение обычной меня: волосы дыбом, синяки под глазами, зелёнка на щеке, рука в бинте. Я подняла руку — оно подняло руку. Я моргнула — оно моргнуло. Я показала язык — оно показало язык. Всё правильно. Всё как положено.

Значит, дело не во мне. Не в глазах, не в нервах, не в недосыпе. Опаздывает только то, моё. Треснутое. А все остальные зеркала — нормальные.

Это меня почему-то успокоило. Как успокаивает, когда врач говорит: «Ничего страшного, это у вас не болезнь, это у вас аллергия на кошек». Ну, аллергия. Ну, на кошек. Ну, не заводи кошку. Жить можно.

Я умылась. Отмыла зелёнку со щеки — почти. Она отмылась на две трети и стала бледно-салатовой, как будто у меня на лице был стильный дизайнерский синяк. Почистила зубы. Посмотрела на себя ещё раз.

И увидела, что за моей спиной в маленьком круглом зеркале, в дверном проёме ванной, стоит Валера в одних трусах с полотенцем на плече.

— Алис, ты долго? — спросил Валера.

— Уже всё.

— А чё у тебя с рукой? Подралась?

— С зеркалом.

— Круто, — сказал Валера уважительно. — Я тоже однажды с зеркалом подрался. На гастролях в Твери. Мне показалось, что там кто-то стоит. Я вдарил. А это был я.

— И кто победил?

— Зеркало, — сказал Валера. — Восемь швов. Но я после этого написал песню. «Тот, кто во мне». Хочешь, сыграю?

— На подушке?

— Ну да.

— Потом, Валер.

Валера кивнул и пошёл в душ, а я подумала: «Тот, кто во мне». Неплохое название. Для песни. И для того, что со мной

происходит.

* * *

Я вернулась в комнату, заварила себе чай из пакетика, который был последним и который я заваривала второй раз, и села на пол перед зеркалом. По-турецки. Как вчера.

На столе — нет, на полу, рядом со мной, на салфетке, — лежали мои сокровища. Камень. Льдинка. Ценник от печенья «Юбилейное» со списком дат. Три предмета, которые за двое суток перевернули мою жизнь с ног на голову. Они лежали рядком, как экспонаты в музее: молчаливые, непонятные, но уже не чужие. Как будто это были не вещи, а улики. А я — следователь. Плохой следователь, который ничего не понимает, но очень хочет понять.

Я долго смотрела на них.

Потом на зеркало.

Отражение смотрело на меня. Со стороны оно, наверное, выглядело очень серьёзно: сидит девушка в свитере с оленями, с забинтованной рукой, с салатовым синяком на щеке, перед ней камень, льдинка и ценник от печенья. Как гадалка. Или как сумасшедшая. Это, в общем, одно и то же, как говорит Вика, которая однажды ходила к гадалке, и та сказала ей, что у неё будет трое детей, а у Вики пока только хорёк, и тот чужой.

— Ну, — сказала я отражению. — Что будем делать?

Отражение пожало плечами. Вовремя.

— Ты вчера показала мне большой палец, — напомнила

я. — Значит, одобряешь?

Отражение посмотрело на меня. Потом на камень. Потом снова на меня. И кивнуло. Медленно. Чуть раньше, чем кивнула я.

Раньше. Не позже — раньше.

Я моргнула. Это было что-то новое. До сих пор оно опаздывало. А теперь — опередило. Как будто оно знало, что я сейчас кивну. Как будто оно было на шаг впереди.

— Ладно, — сказала я. — Ладно. Ты меня пугаешь.

Отражение развело руками. «А что я могу поделать».

Я взяла камень. Сжала в кулаке — правом, забинтованном. Бинт мешал, но камень прошёл сквозь него теплом, как будто бинта не было. Льдинку я взяла в левую руку. Она тоже была тёплая. Две теплоты, с двух сторон, — как будто я держала за руки двух маленьких детей.

И протянула правую руку к трещине.

Не кулаком в этот раз. Кончиками пальцев. Осторожно. Как трогаешь спящую собаку, которая может проснуться и цапнуть.

* * *

Я не провалилась.

Вот что я хочу сказать сразу. Не провалилась, не упала, не потеряла сознание, не почувствовала, как мир распадается на слои, как вчера. Не было ни сгущения света, ни выдернутого штекера, ни ледяной капельницы по венам. Пальцы коснулись трещины, трещина отозвалась тихой дрожью —

тук, — и всё.

Я посидела. Подождала. Ничего не происходило.

— Ну? — сказала я.

Отражение кивнуло на стену. Справа от зеркала. На ту стену, за которой Валерина комната.

Я посмотрела на стену. Обычная стена. Обои — бежевые, в мелкий цветочек, отклеившиеся у потолка. Розетка. Гвоздь, на котором ничего не висит. Пятно от чего-то, что висело тут до меня, — прямоугольное, светлое, как тень от исчезнувшей картины.

А потом я посмотрела на стену краем левого глаза.

И увидела дверь.

Не нарисованную, не призрачную, не просвечивающую. Обычную дверь. Ну, почти обычную: старую, деревянную, высокую, крашеную когда-то белой масляной краской, которая облупилась и пожелтела, как зубы курильщика. С бронзовой ручкой в виде львиной лапы. Она была в стене — там, где пятно от картины, — и она была закрыта.

Я посмотрела прямо. Двери не было. Обои, цветочки, пятно.

Краем глаза. Дверь.

Прямо. Нет двери.

Краем глаза. Есть дверь.

— Это шутка? — спросила я отражение.

Отражение не ответило. Оно сидело, смотрело на меня и ждало. Как Клавдия Ивановна. Как Ангелина Карловна за

кулисами. Как все, кто знал что-то, чего не знала я.

Я встала. Колени хрустнули. Подошла к стене. Встала перед пятном от картины. Повернула голову так, чтобы видеть стену левым глазом, — неудобно, как будто смотришь на собеседника, который стоит у тебя за плечом. Дверь была там. Ручка в виде львиной лапы — на уровне моего пояса.

Я протянула руку. Левую, со льдинкой.

Пальцы коснулись ручки.

Ручка была холодной, металлической, настоящей. Я почувствовала под пальцами бронзовые когти львиной лапы — гладкие, стёртые тысячей рук. Повернула.

Дверь открылась.

Не скрипнула, не заело. Открылась мягко, легко, как будто её только вчера смазали. И за ней был коридор.

* * *

Я шагнула. Один шаг. Сквозь стену. Как сквозь дверной проём, который всегда был здесь, просто я его не видела.

И оказалась по ту сторону.

Коридор был узким — двоим не разойтись. С низким сводом — я могла бы дотянуться до потолка, не вставая на цыпочки. Стены — оштукатуренные, когда-то белёные, теперь серые, с пятнами сырости, похожими на карты неизвестных материков. Пол — дощатый, старый, с щелями между досками. Света не было — ни ламп, ни окон, — но было видно. Как в сумерках, когда солнце уже село, а темнота ещё не пришла. Всё видно, но без теней.

И пахло. Сырой штукатуркой. Старым деревом. Пылью. И чем-то ещё, неуловимым, — я долго не могла понять, чем, а потом поняла. Временем. Так пахнет в старых библиотеках, в архивах, в бабушкиных сундуках. Так пахнет то, что давно лежит и ждёт.

Я оглянулась.

За спиной, в проёме двери, пульсировала светом моя комната. Я видела её сквозь стену — как сквозь мутное стекло, как сквозь воду в аквариуме. Кровать. Стол. Зеркало. Отражение в зеркале — оно стояло. Не сидело — стояло. Хотя я в комнате не стояла, меня в комнате вообще не было. Отражение стояло одно, без меня, и смотрело в мою сторону, сквозь стену, и махало мне рукой.

Я помахала в ответ. Не знаю зачем. Вежливость.

Потом шагнула обратно. Один шаг — и я снова стою на полу в своей комнате, рядом со столом, перед пятном от картины на обоях. Двери нет. Стена. Цветочки. Отражение в зеркале — сидит на полу по-турецки, как будто ничего не было, с невинным видом.

Шаг вперёд — и снова коридор. Шаг назад — комната.

Я повторила это три раза. Вперёд — назад. Вперёд — назад. Вперёд — назад. Как ребёнок, которому впервые показали раздвижные двери в супермаркете. С каждым разом сердце колотилось всё меньше — сначала где-то в горле, потом в груди, потом на своём законном месте. Страх уходил. Уступал место чему-то другому. Похожему на азарт. На то чув-

ство, которое бывает, когда в первый раз съезжаешь с горки на санках и понимаешь, что не разбилась, и хочется ещё.

Но каждый проход отдавал холодом. В кости. Сначала в пальцы. Потом в запястья. К концу третьего раза пальцы на руках у меня занемели, будто я долго держала их в ледяной воде. Будто я полоскала бельё в проруби. Камень грел, льдинка грела, но холод всё равно пробирался — откуда-то изнутри, не снаружи.

Ладно. Пять минут. Я дам себе пять минут. Посмотрю, что там дальше, — и обратно.

* * *

Коридор вёл прямо. Шагов через двадцать он расширился, перешёл в арку — кирпичную, полукруглую, с замковым камнем, на котором было что-то вырезано, полустёртое, похоже на герб или на дату. А за аркой открылся ход, уходящий вниз. Ступеньки. Каменные, стёртые посередине — сотни, тысячи ног спускались здесь до меня.

Стены здесь были уже не оштукатуренные — кирпичные. Старый кирпич, тёмно-красный, с белыми пятнами соли, как на старых сапогах после зимы. С остатками побелки. Вдоль стен тянулись трубы — чугунные, толстые, покрытые ржавчиной, как коростой. Где-то капала вода. Кап. Кап. Кап. Медленно, ровно, как метроном. Как Валера на подушке, только медленнее и без «Депрессии в ре миноре».

Я шла медленно, прислушиваясь к своим шагам. Здесь было тихо. Не той тишиной, от которой звенит в ушах, — а

плотной, ватной. Как будто звук не может пробиться сквозь эту прослойку. Я кашлянула — проверить. Кашель вышел глухой, как в подушку, и тут же утонул в стенах, не дав эха.

Холод поднимался. От пальцев — к запястьям. От запястий — к локтям. Я знала, что скоро придётся возвращаться. Камень в правом кулаке пульсировал всё чаще, как будто нервничал. Как будто говорил: «Хватит. Хватит. Пора назад».

Ещё чуть-чуть, сказала я ему. Ещё десять шагов.

И на восьмом шаге я увидела это.

На полу. В углублении между кирпичами, там, где пол был покрыт тонким слоем пыли, мелкой, серой, как пепел, — отпечаток. Чужой подошвы.

Свежий.

Я поняла, что свежий, ещё не наклонившись. Края отпечатка были чёткие, острые, не осыпавшиеся. Пыль внутри не успела лечь ровным слоем — она лежала комочками, вдавленная, как снег под ботинком. Кто-то прошёл здесь совсем недавно. Час назад. Может, меньше.

Я опустилась на корточки. Отпечаток был небольшой. Женский, наверное. Тридцать восьмой размер, может, тридцать седьмой. Подошва — ребристая, с рисунком ёлочкой, как у походных ботинок. На каблуке — маленькая трещина, косая, через весь каблук.

Я провела пальцем по краю отпечатка.

И почувствовала запах.

Тонкий. Древесный. С горьковатой нотой. Я узнала его сразу — его невозможно не узнать, если хоть раз в жизни был в художественной мастерской. Лак. Мебельный лак. И ещё скипидар. И ещё что-то — воск? канифоль? — тёплое, медовое. Запах мастерской. Запах того, кто работает с деревом. Кто реставрирует старые рамы. Кто снимает с позолоты вековую грязь и наносит новый слой.

Кто-то, кто работает с деревом, прошёл здесь час назад. По изнанке. Тридцать восьмого размера, в походных ботинках с трещиной на каблуке.

И ещё одно я заметила, когда присмотрелась. Рядом с отпечатком, чуть в стороне, на пыли, был другой след. Маленький. Станный. Как будто кто-то протасил по пыли что-то тонкое, многоногое. Цепочка крошечных точек — двойных, парных, — и между ними тонкая волнистая полоска, как от хвоста.

Я подняла голову.

* * *

В трёх шагах от меня, на кирпичном выступе у стены, сидел Громыко.

Я узнала его сразу. Я видела его однажды за едой банана, и это зрелище не забудешь. Большой — с зажигалку, если не больше. Тёмно-коричневый, почти чёрный, лаково блестящий, как старый рояль. С длинными подрагивающими усами. Он сидел на кирпиче и смотрел на меня.

Я не знаю, могут ли тараканы смотреть. Гоша говорит, что

у них фасеточные глаза и они видят мир как мозаику из тысячи кусочков. Но Громыко на меня смотрел. Всеми своими тысячами кусочков. И в этой мозаике, наверное, я выглядела как тысяча маленьких испуганных девушек в свитере с оленями.

— Громыко, — сказала я шёпотом. — Это ты?

Громыко зашипел.

Мадагаскарские тараканы шипят, выдавливая воздух через дыхальца. Это звучит, как будто кто-то очень маленький очень сердито открывает бутылку газировки. Гоша говорит, что это от застенчивости. Мне показалось, что это не от застенчивости. Мне показалось, что это было: «Ну наконец-то. Сколько можно ждать».

— Тебя Гоша ищет, — сказала я. — Он с фонариком под Розалией ползал.

Громыко пошевелил усами. Явно без интереса к Гошиным переживаниям.

— Как ты сюда попал?

Громыко не ответил. Он развернулся — медленно, с достоинством пожилого министра иностранных дел, — и пополз вдоль стены. Туда, куда уходил след подошвы. В темноту, за поворот. Прополз сантиметров двадцать, остановился и посмотрел на меня. «Ну? Идёшь?»

— Нет, — сказала я. — Никуда я не иду. У меня руки отмерзают. И у тебя, между прочим, тоже, ты тропическое насекомое, тебе здесь вообще нельзя. Иди сюда.

Громыко не пошёл. Он пополз дальше. Ещё двадцать сантиметров. Остановился. Посмотрел.

Я вздохнула. Есть вещи, которые невозможно делать с достоинством. Я уже говорила. Добавлю к списку: ловить мадагаскарского шипящего таракана в подземном ходе на изнанке Петербурга, держа в одной руке магический камень, а в другой — тёплую льдинку.

Я сунула льдинку в карман джинсов. Камень — в другой. Освободила руки. Подкралась к Громыко на корточках, как подкрадываются к голубю, чтобы его покормить, а он всё равно улетает. Громыко подождал, пока я подкрадусь совсем близко, и, когда я протянула руки, — не убежал. Не зашипел. Спокойно, деловито, как пассажир, который садится в такси, залез мне на ладонь.

Он был тяжёлый. Тёплый. Колючий — лапки цеплялись за кожу крошечными крючками. И он не шевелился. Сидел на моей ладони, как на троне, и смотрел вперёд, в темноту коридора, туда, куда уходил след.

— Ладно, — сказала я ему. — Я поняла. Там что-то есть. Но сегодня мы туда не пойдём. Сегодня у меня Пупырин. А у тебя Гоша.

* * *

Прежде чем вернуться, я сделала одну разумную вещь. Одну за всё утро. Я вытащила телефон — осторожно, одной рукой, потому что на другой сидел Громыко, — навела камеру на отпечаток и сделала три снимка подряд. Общий. Круп-

ный. Сбоку.

Экран моргнул, фокусируясь в сумраке. Вспышку я включать не стала — не знаю почему. Мне показалось, что здесь не стоит включать вспышку. Как не стоит включать свет в чужой спальне, где кто-то спит.

На втором кадре след вышел чётко. Рисунок подошвы — ёлочкой. Глубина вдавленности. Даже трещина на каблуке — косая, тонкая.

Я убрала телефон. Посмотрела ещё раз в темноту коридора. Отпечаток уходил вперёд — был ещё один, и ещё, цепочкой, — и терялся за поворотом. Я могла бы пойти. Но холод уже поднялся выше локтей, к плечам, и пальцы немели так, что я боялась уронить Громыко. А уронить министра иностранных дел — это дипломатический скандал.

Я развернулась и пошла обратно. По ступенькам вверх. Через арку. По узкому коридору. К двери с ручкой в виде львиной лапы, за которой пульсировала светом моя комната.

Шагнула.

* * *

В комнате было душно. Батарея гудела — отопление дали на полную, видимо, в котельной решили компенсировать вчерашнее. За окном горели жёлтые окна соседнего дома. Всё как обычно. Стол, стул, кровать, стопка книг на подоконнике, банка с кистями. Банка из-под Викиного борща. Зеркало у стены.

Я стояла посреди комнаты, с Громыко на ладони, и дро-

жала. Не от страха — от холода. Холод сидел в костях, в суставах, в зубах. Я подошла к батарее и прижалась к ней всем телом, как кот. Громыко, кажется, одобрил: перебрался с ладони на батарею и устроился там, прижавшись к горячему чугуну всеми шестью лапами. В тёплом. Как и сказал Гоша.

Минут через десять я согрелась настолько, что смогла выйти в коридор и постучать в Гошину дверь.

— Гоша, — сказала я. — Я нашла Громыко.

Гоша распахнул дверь так быстро, будто стоял за ней. Может, и стоял.

— Где?! — Очки у него съехали. — Где он был?! Простите. Где?

Я задумалась. Сказать «на изнанке Петербурга, в подземном ходе, у следа реставратора» — было бы честно, но Гоша, при всей своей интеллигентности, вряд ли это оценил бы. Гоша учёный. Он верит в фасеточные глаза и дыхальца. В изнанку он не верит.

— В тёплом, — сказала я. — На батарее. У меня.

Гоша бросился в мою комнату, увидел Громыко на батарее, упал перед батареей на колени, как перед иконой, и бережно, двумя руками, снял его.

— Громыко, — сказал Гоша дрожащим голосом. — Громыко, как ты мог. Как ты мог. Я думал... Я думал, ты... — Он поднёс таракана к лицу. — Простите. Он холодный. Почему он холодный? Он же на батарее сидел.

— Не знаю, Гоша. Может, он долго шёл.

— Откуда?

— Из... — Я махнула рукой неопределённо. — Издалека.

Гоша посмотрел на меня поверх очков. Потом на Громыко. Потом снова на меня. Он был энтомолог, а не дурак. Но он был также очень вежливый человек, и он решил не спрашивать.

— Спасибо, — сказал он. — Простите. Спасибо. Я вам должен. Я... Хотите, я назову в вашу честь таракана? У меня скоро будет потомство. От Молотова и Шеварднадзе.

— Шеварднадзе — девочка?

— Шеварднадзе — девочка, — подтвердил Гоша серьёзно. — Я тогда не знал. Когда называл. Они все были маленькие, и я... В общем, Шеварднадзе — девочка. И скоро у неё будет тридцать детей.

— Тридцать?

— Ну, может, сорок. — Гоша прижал Громыко к груди.

— Хотите, одного назову Алисой?

— Таракана? В мою честь?

— Это большая честь, — сказал Гоша очень серьёзно. — Я до сих пор никого не называл в честь людей, которые... не министры иностранных дел.

Я подумала. Мама, наверное, не одобрила бы. Мама хотела, чтобы я завела кота. Таракан с моим именем — это не совсем кот. Но это, как сказала бы мама, первый шаг.

— Называй, — сказала я.

Гоша просиял, извинился шесть раз подряд и ушёл к се-

бе, неся Громыко, как святыню. Я слышала, как он сказал за дверью: «Шеварднадзе, смотри, кто вернулся», — и как в ответ раздалось шипение. Видимо, Шеварднадзе не одобряла ночных прогулок.

* * *

Я села за стол. Открыла ноутбук.

Почта встретила меня тремя непрочитанными письмами. Все — от Пупырина. Все — за последние два часа. Пока я была на изнанке, Пупырин не дремал.

Первое, в 9:14: «Алиса, доброе утро!!! Мы подвинули дедлайн на понедельник! Это хорошая новость!!!»

Второе, в 9:47: «Алиса, посмотрите правки в аттаче. Директор посмотрел Петра-блогера и сказал, что это гениально, но не наш формат») Давайте вернёмся к первому варианту, но с элементами блогера. И с кораблём. И ещё, может, добавить Екатерину? Целевая аудитория женщины 25–40 тоже покупают чипсы!!!»

Третье, в 10:31: «Алиса??? Когда ждать новый вариант???»

Три вопросительных знака. Это у Пупырина, видимо, высшая степень тревоги. Как у Гамлета «Деньги вперёд!».

Я открыла аттач. Там было семь правок. Я прочитала их и поняла, что Пупырин хочет на одной пачке чипсов Петра Первого в треуголке и худи, на корабле из чипсов, на берегу Невы, рядом с Екатериной Второй, и чтобы Пётр был молодым, но узнаваемым, суровым, но дружелюбным, а Нева бы-

ла не слишком синей, но и не крабовой, а как-нибудь между. И подозрную трубу, которая не похожа на бутылку. И вкусного. Обязательно вкусного.

Сумма в договоре была ровно такая, чтобы оплатить комнату и доехать до Удельной. Туда и обратно. Дважды.

Я вздохнула. Взяла карандаш — настоящий, простой, «Конструктор» 2В, — придвинула чистый лист. Иногда, когда цифровой Пётр не получается, надо нарисовать его на бумаге. Рука помнит то, чего не помнит голова.

Набросала контур. Набережная. Гранитный парапет. Арка — Зимней канавки, через которую виден Эрмитажный мост. Фонарь. Линия легла привычно, уверенно — я рисовала эту арку раз двадцать, я её знаю, как свою ладонь.

И через секунду поверх линии проступила другая.

Из-под карандаша. Помимо моей воли. Я вела линию арки — ровную, полукруглую, — а рука сама, сама, без меня, повела её дальше, вглубь, и нарисовала за аркой ещё одну арку. И ещё одну. И ещё. Коридор из арок, уходящий в бесконечность, как в зеркальной комнате смеха. А там, где на набережной должна быть стена Эрмитажного театра, — проход. Тёмный. Узкий. С ручкой в виде львиной лапы.

Второй слой вползал в рисунок, как сорняк. Как плесень в старую штукатурку. Как вода сквозь трещину.

Я отбросила карандаш. Он покатился по столу и упал на пол.

Лист с двойной линией остался лежать на столе. Незакон-

ченный. Раздвоенный. Как всё вокруг. Как я.

* * *

Я встала, подошла к зеркалу.

Трещина лежала на амальгаме по-прежнему — тонкая и спокойная. За стеклом — моя комната, моё отражение. Обычное. Даже как будто немного виноватое — как будто это оно водило моей рукой.

— Это ты? — спросила я. — Это ты рисуешь?

Отражение покачало головой. Синхронно со мной, потому что я тоже покачала головой — я не знала, что ещё делать с головой.

Но краем глаза — краем левого глаза — я видела, как за стеной, за обоями с цветочками, шевелятся тени. Тех самых коридоров. Тех самых арок. Тот самый ход, по которому прошёл кто-то, кто пахнет лаком. Обычный Петербург и его изнанка срослись для меня. Склеились. Как два листа бумаги, которые долго лежали в сырости. И я уже не могла решить, какой из них настоящий.

Я коснулась пальцами стекла. Холодного.

И замерла. Я ждала. Чего — не знала сама. Шага из отражения. Голоса с той стороны. Нового следа. Громыко. Высокого в пальто.

Но зеркало молчало. Только отдавало холодом в подушечки пальцев, будто говорило: «Ещё не время».

Я убрала руку и вернулась к столу. Пупырин ждал. Пётр ждал. Екатерина Вторая ждала, хотя её ещё даже не было.

Прежняя жизнь ещё не отпустила меня — она стояла в почте тремя вопросительными знаками и в телефоне счётчиком дней до пятницы. Но места, куда можно было бы в неё вернуться, в ней уже не было. Как не было стены там, где я теперь видела дверь.

Я рисовала до вечера. Пётр получился — неплохой. Молодой, но узнаваемый. В треуголке, но с намёком на худи. На корабле, который был немножко из чипсов, если присмотреться. Рядом — Екатерина, крошечная, на заднем плане, как будто машет с берега. Нева — серо-голубая, как в ноябре. Подзорная труба — короткая, складная, совсем не похожая на бутылку.

И только одна деталь получилась сама. Я её не рисовала. Я заметила её, когда уже отправила файл Пупырину и пила остывший чай.

За кораблём, на другом берегу Невы, у самой воды, стояла маленькая фигурка. Высокая. Тонкая. В чёрном пальто.

Пупырин ответил через двадцать минут:

«Алиса, это огонь!!! Директору нравится!!! Только одно: кто этот человек на заднем плане? Можно убрать? Он какой-то грустный)))»

Я долго смотрела на это письмо. «Он какой-то грустный». Потом стёрла фигурку.

Она стёрлась не сразу. С третьего раза.

* * *

Вечером, около девяти, я стояла перед зеркалом с камнем

в кармане джинсов. Я не собиралась никуда идти. Честно. Я просто стояла и смотрела. Как смотрят на море. Или на огонь. Или на чужие окна.

Камень грел мне бок через ткань — ровно, спокойно, как грелка. Трещина лежала на стекле. Тонкая нить.

И вдруг — секунда, другая — она начала расширяться.

Не трещина — нет, трещина осталась прежней, тонкой. Расширилось что-то внутри неё. Как будто тонкая нить превращалась в паутину. В сеть. Тёмные линии разбегались от трещины по амальгаме — ветвистые, как молния в августовскую грозу, как трещины на льду, когда наступаешь на него слишком рано. Стекло не трескалось — оно оставалось целым. Это было что-то за стеклом. В отражении.

В отражении — в моей комнате, за моей спиной — темно. Как будто кто-то выключал там свет. Медленно. Угол за углом. Кровать. Стол. Окно.

И из глубины стекла, из-за отражения, из темноты, — выступила фигура.

Я отшатнулась.

Не высокий. Не в чёрном. Не он.

Женщина. Она шагнула сквозь зеркало, как сквозь дверной проём. Спокойно, уверенно, без усилия. Как человек, который много раз ходил этой дорогой. Сначала ботинок — походный, коричневый, с ребристой подошвой. Потом второй. Потом вся она — целиком, в комнату, на мой паркет. И зеркало за её спиной снова стало просто зеркалом — с тре-

щиной, с моим испуганным отражением, с моей освещённой комнатой.

Молодая. Чуть старше меня — лет тридцать, может, тридцать два. Светлые волосы, собранные на затылке в небрежный пучок, из которого выбивались пряди. Тёплое лицо — круглое, с веснушками на носу. Спокойные серые глаза. Рабочая куртка — брезентовая, в пятнах краски. Джинсы, на коленях — потёртые. В руках — свёрток. Небольшой, тряпичный, перевязанный бечёвкой.

И от неё пахло.

Деревом. Лаком. Скипидаром. И ещё чем-то неуловимым, похожим на сухую траву. На сено. На лето.

Я отступила ещё на шаг и врезалась спиной в подоконник. Банка с кистями звякнула.

Женщина посмотрела на меня. Потом на банку с кистями. Потом на лист с раздвоенной аркой на столе. Потом на мою забинтованную руку. Потом снова на меня.

И улыбнулась. Немного устало. Немного виновато. Как улыбаются, когда приходят в гости без предупреждения, понимая, что это невежливо, но иначе было нельзя.

— Здравствуй, — сказала она. — Я Лена.

Я машинально посмотрела на её ботинки.

На правом каблуке была трещина. Тонкая. Косая. Через весь каблук.

— Тридцать восьмой? — спросила я. Голос у меня был сиплый, как у Копейки.

Лена удивилась. Посмотрела на свои ботинки. Потом на меня.

— Тридцать седьмой с половиной, — сказала она. — А что?

— Ничего, — сказала я. — Просто. Вы сегодня утром мимо проходили. Мимо меня. Там.

Лена снова улыбнулась. Уже не так устало.

— А, — сказала она. — Ты видела след. Хорошо. Значит, я правильно пришла.

И положила свёрток на мой стол. Прямо на Петра Первого.

Глава 7. Карта с тремя кружками

Вторник, вечер — среда, утро

Когда из твоего зеркала выходит незнакомая женщина, есть несколько правильных способов отреагировать. Закричать. Упасть в обморок. Позвонить в полицию. Позвонить маме. Позвонить Вике, которая сказала: «Хоть ночью». Перекреститься, если умеешь.

Я спросила, какой у неё размер обуви.

Потом, когда я рассказывала об этом Вике, она долго смеялась и сказала, что это самое череповецкое, что она когда-либо слышала. «У нас, — сказала Вика, — если к тебе в дом вломится медведь, первым делом спросят, вытер ли он ноги».

Лена положила свёрток на стол, прямо на распечатку Петра Первого с Екатериной, огляделась — не торопясь, внимательно, как оглядывает комнату человек, который привык замечать трещины, сколы и следы старой краски, — и сказала:

— У тебя холодно.

— Отопление, — сказала я машинально. Это уже стало моей мантрой.

— Нет, — сказала Лена. — Это от него. — Она кивнула на зеркало. — Оно тянет тепло. Как сквозняк из погреба. Ты одеяло на ночь клади двойное. И на ноги носки шерстяные.

А то заболеешь.

Это было настолько неожиданно по-матерински, что я чуть не рассмеялась. Женщина, которая только что вышла из зеркала, советует мне шерстяные носки. Как будто это самое важное.

— Чаю хочешь? — спросила я., потому что надо было что-то спросить, а в моей семье, если не знаешь, что сказать гостю, предлагаешь чай. Даже если гость вылез из зеркала. Особенно если.

— Хочу, — сказала Лена с явным облегчением. — Очень. Там, — она снова кивнула на зеркало, — чай не пьют.

Я пошла на кухню ставить чайник. По дороге поняла, что у меня нет второй чашки, что у меня нет чая (последний пакетик я сегодня утром заварила дважды), что у меня нет сахара и что, если Ангелина Карловна сейчас увидит у меня в комнате постороннего человека, который не входил через дверь, мне придётся объяснять это очень долго, а у меня нет объяснения.

На кухне сидел Гамлет. Он не спал. Он смотрел на меня одним глазом.

— Ну? — сказала я ему шёпотом. — Ты почему не крикнул «Браво»? Человек же вошёл.

Гамлет подумал. Потом сказал, тихо и значительно:

— Антракт.

— Это я уже слышала.

— Деньги вперёд, — подумав ещё, сказал Гамлет.

— У меня нет денег. У меня даже чая нет.

Гамлет посмотрел на меня с глубоким презрением старого театрального деятеля к молодёжи, у которой нет даже чая, и отвернулся к стене.

Чай я одолжила у Ангелины Карловны — из жестяной банки с надписью «Индийский. Слон», которой было лет сорок и в которой лежал совсем другой чай, кажется, цейлонский, но слон за это время стал семейной реликвией. Чашку — у Валеры, у него была кружка с черепом и надписью «Сломанный трамвай. Тур 2019», единственная во всей квартире чистая. Сахар — у Гоши, из коробки, на которой было написано «НЕ ДЛЯ ТАРАКАНОВ». Это было, наверное, первое в истории коммунальной квартиры на Большой Зелениной коллективное чаепитие, о котором коллектив не знал.

* * *

Когда я вернулась, Лена сидела на полу перед зеркалом. По-турецки. Как я утром. И смотрела в него.

Отражение смотрело на неё. Моё отражение — то есть отражения меня не было, меня в комнате не было, но зеркало, видимо, решило, что раз уж оно моё, то и показывать будет меня. В зеркале, у стены, стояла я — с двумя чашками в руках, — хотя на самом деле я стояла в дверях. И это отражение меня смотрело на Лену. А Лена смотрела на него.

— Оно у тебя живое, — сказала Лена, не оборачиваясь. — Быстро.

— Мне уже говорили, что быстро, — сказала я. — Клав-

дия Ивановна.

— Клавдия Ивановна, — повторила Лена, и голос у неё чуть дрогнул. — Конечно.

Я поставила чашки на пол. Села рядом. Мы сидели обе по-турецки перед зеркалом, с чашками, как две девочки, которые гадают на святки. Не хватало только свечки и кольца на нитке.

Отражение в зеркале наконец перешло с двери на пол и село рядом с отражением Лены. Тоже с чашкой. И отпило. Раньше, чем я.

— Перестань, — сказала я ему.

— Не ругай, — сказала Лена. — Оно не нарочно. Оно учится. Это как котёнок, который бежит за собственным хвостом. Потом перестанет.

— Когда?

— Когда ты перестанешь его бояться.

Я отпила чай. Чай был крепкий, сладкий, Гошиного сахара я положила три ложки, потому что после изнанки хотелось сладкого так, как хочется после экзамена. Лена тоже отпила. И закрыла глаза. И посидела так секунды три. Как человек, который давно не пил горячего.

— Спасибо, — сказала она. — Ты не представляешь.

— Ты долго там была? — спросила я.

Лена открыла глаза. Посмотрела на меня. Серые глаза, спокойные. Очень усталые. Как у человека, который несколько ночей не спал и знает, что ещё несколько не по-

спит.

— Сегодня — с утра, — сказала она. — Шла к тебе. А вообще... — Она посмотрела в чашку. — Вообще — долго. Давай я тебе расскажу по порядку. А то ты сейчас начнёшь задавать вопросы, и мы до утра будем ходить кругами.

— Я не буду задавать вопросы, — сказала я.

— Будешь, — сказала Лена. — Ты художник. Художники всегда спрашивают «почему». Я реставратор. Реставраторы спрашивают «как». Это разные вопросы.

* * *

Она развязала бечёвку на свёртке. Медленно, аккуратно, как развязывают бантики на подарках, которые хотят сохранить. Внутри, в выцветшей ситцевой тряпице в мелкий голубой горошек, лежали две вещи.

Первая — сложенная вчетверо бумага. Старая, жёлтая, мягкая на сгибах, как ткань. Карта.

Вторая — инструменты. Маленький скальпель в кожаном чехле. Кисточка — тонкая, беличья, с костяной ручкой. Пузырёк с чем-то тёмным, янтарным. Кусочек замши. Лупа на шнурке. Всё — старое, потёртое, явно много раз бывшее в работе.

— Это мои, — сказала Лена, заметив мой взгляд. — Рабочие. Я реставратор. В Эрмитаже, в отделе... — Она запнулась. — Неважно, в каком отделе. Дерево и стекло. Рамы, зеркала, мебель. Восемнадцатый век, девятнадцатый. Иногда семнадцатый, но это редко, это надо, чтобы повезло.

— В Эрмитаже, — повторила я. — Правда?

— Правда. — Лена слегка улыбнулась. — Хочешь, пропуск покажу?

— Нет. То есть да. То есть... — Я махнула рукой. — Неважно. Я просто... Я в Эрмитаже была три раза. И все три раза заблудилась. Один раз — так, что вышла к залу, где ремонт, и меня оттуда выгоняла смотрительница с таким лицом, как будто я пришла украсть «Мадонну Литту».

— Это Римма Аркадьевна, — сказала Лена. — Она всех так выгоняет. Даже директора. Однажды выгнала министра культуры. Он потом извинялся.

Мы обе засмеялись. И это было странно — сидеть на полу с женщиной, которая вышла из зеркала, и смеяться над смотрительницей Эрмитажа. Как будто мы давно знакомы. Как будто мы — соседки по коммуналке, а не... кто мы там друг другу. Я ещё не знала.

Лена развернула карту.

Это была карта Петербурга. Старая — не древняя, но старая. Начала двадцатого века, наверное, или конца девятнадцатого. Тонкие коричневые линии, мелкий шрифт с ятями, кварталы, покрашенные бледно-розовым, сады — бледно-зелёным, вода — бледно-голубым. Многих улиц я не узнавала. Какие-то были, а теперь нет. Какие-то названия были другие. На месте моего дома на Большой Зелениной был пустырь, и на нём было написано «Огороды».

Но поверх этой старой карты — карандашом, тонко, ак-

куратно, рукой человека, привыкшего к точной работе, — была нарисована другая. Линии, которых нет ни на одной карте. Ходы. Арки. Каналы — не те, что сверху, а те, что снизу. Изнанка. Целая сеть, как кровеносные сосуды под кожей, как корни под деревом. Она расходилась от центра — от Петропавловки, кажется, или от Стрелки — во все стороны, переплетаясь, разветвляясь, уходя под Неву, под Мойку, под Фонтанку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.